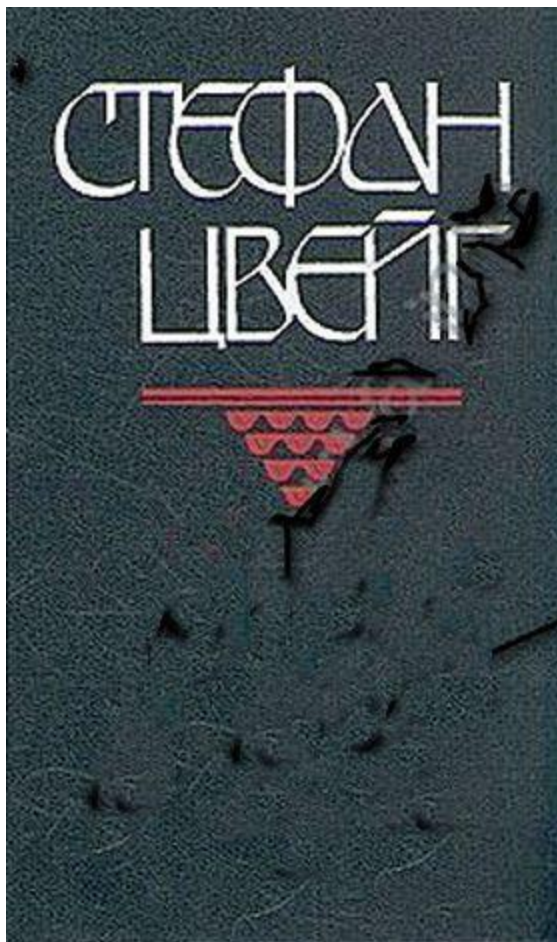


Стефан Цвейг
Двадцать четыре часа из жизни женщины



Стефан Цвейг
Двадцать четыре часа из жизни женщины

За десять лет до войны я отдыхал на Ривьере, в маленьком пансионе, и вот однажды за столом вспыхнул жаркий спор, грозивший кончиться настоящей ссорой со злобными выпадами и даже оскорблениями. Большинство людей не отличается богатым воображением. То, что происходит где-то далеко, не затрагивает их чувств, едва их трогает; но стоит даже ничтожному происшествию произойти у них на глазах, ощутимо близко, как разгораются страсти. В таких случаях люди как бы возмещают обычное свое равнодушие необузданной и излишней горячностью.

Так было и в нашей добропорядочной компании, за обедом мы вели small talk,¹ мирно перекидывались легкими шутками и, встав из-за стола, тотчас расходились в разные стороны: немецкая чета отправлялась с фотоаппаратом на прогулку, добродушный датчанин – к своим скучным удочкам, английская леди

¹ Непринужденная беседа (англ.).

— к своим книгам, супруги-итальянцы спешили в Монте-Карло, а я бездельничал, развалившись в плетеном кресле, или садился за работу. Но на этот раз мы сцепились в бурной перепалке, и если кто-нибудь внезапно вскакивал, то не для того, чтобы вежливо откланяться, а в пылу спора, который, как я уже сказал, принял под конец самый ожесточенный характер.

Событие, так взбудоражившее наш маленький застольный кружок, действительно было из ряда вон выходящим. Пансион, где жили мы семеро, производил впечатление частной виллы, и какой чудесный вид открывался из наших окон на прибрежные скалы! На самом же деле он был только частью большой гостиницы «Палас-отель» и соединялся с ней садом, так что мы, хотя и жили особняком, находились в постоянном общении с обитателями отеля. Так вот в этом отеле накануне разыгрался крупный скандал. С дневным поездом в двенадцать двадцать (необходимо точно указать время, ибо оно важно для происшествия и играло роль в нашем жарком споре) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море; уже одно это говорило о том, что он человек со средствами. Он обратил на себя внимание не только своей элегантностью, но, прежде всего, необычайно привлекательной внешностью: удлиненное женственное лицо, шелковистые светлые усы над чувственными губами, мягкие, волнистые каштановые волосы с кудрявой прядью, падавшей на белый лоб, бархатные глаза — всё в нем было красиво какой-то мягкой, вкрадчивой красотой. Держался он предупредительно и любезно, но без всякой нарочитости и жеманства. Если он и напоминал на первый взгляд те раскрашенные восковые манекены, которые, с щегольской тростью в руке, гордо красуются в витринах модных магазинов как воплощенный идеал мужской красоты, то вблизи впечатление фатоватости рассеивалось, потому что его неизменно приветливая любезность (редчайший случай!) была естественной и казалась врожденной. Скромно и вместе с тем сердечно приветствовал он каждого, и было приятно смотреть, как на каждом шагу просто и непринужденно проявлялись его изящество и благовоспитанность. Он спешил подать пальто даме, направляющейся в гардероб, для каждого ребенка находился у него ласковый взгляд или шутка, был он обходителен, но без малейшей развязности; короче говоря, это был, видимо, один из тех счастливых, которым уверенность, что всех пленяет их ясное лицо и юношеское обаяние, придает еще большую привлекательность. На людей пожилых и болезненных, а их здесь было большинство, его присутствие влияло благотворно. Своей свежестью, жизнерадостностью, победной улыбкой юности, которая свойственна неотразимо обаятельным людям, он сразу же завоевал всеобщую симпатию.

Через два часа после своего приезда он уже играл в теннис с дочерьми толстенького благодушного фабриканта из Лиона — двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, хрупкая, изящная, сдержанная мадам Анриэт, с легкой улыбкой наблюдала, как ее неоперившиеся птенчики бессознательно кокетничают с молодым незнакомцем. Вечером он около часа смотрел, как мы играем в шахматы, рассказал несколько забавных анекдотов, долго прогуливался по набережной с мадам Анриэт, — муж ее, как всегда, играл

в домино со своим приятелем, фабрикантом из Намюра, – а поздно вечером я застал его в полутемной конторе отеля за интимной беседой с секретаршей. На следующее утро он сопровождал датчанина на рыбную ловлю, обнаружив при этом поразительные познания, затем долго беседовал с лионским фабрикантом о политике и, видимо, также показал себя интересным собеседником, ибо сквозь шум прибоа слышался раскатистый хохот толстяка фабриканта. После обеда (я намеренно, для ясности, так подробно сообщаю о его времяпрепровождении) он опять просидел около часа с мадам Анриэт в саду, за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в вестибюле отеля с немецкой четой. В шесть часов я пошел на вокзал отправить письмо и вдруг увидел его. Он поспешил мне навстречу и, как бы извиняясь, сказал, что его неожиданно вызвали, но через два дня он вернется. За ужином он действительно отсутствовал, но только физически, так как за всеми столиками только и говорили что о нем, и все превозносили его приятный, веселый нрав.

Вечером, часов около одиннадцати, – я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, – вдруг в открытое окно, выходящее в сад, донеслись крики, взволнованные возгласы, и в отеле поднялась какая-то суматоха. Скорее обеспокоенный, чем подстрекаемый любопытством, я тотчас же спустился в сад и прошел пятьдесят шагов, отделявших нашу виллу от отеля; там я застал гостей и прислугу в необычайном волнении. Мадам Анриэт не вернулась с прогулки на берегу, которую она совершала каждый вечер, пока ее супруг, по заведенному порядку, играл в домино со своим приятелем. Опасались несчастного случая. Словно буйвол, метался по берегу этот обычно медлительный, грузный человек, и когда он кричал во тьму: «Анриэт! Анриэт!» – в его срывающемся от волнения голосе было что-то первобытное и страшное, напоминающее рев раненного насмерть огромного зверя. Кельнеры и мальчишки-бои носились, вверх и вниз по лестнице; разбудили всех живущих в отеле, позвонили в полицию. А толстый человек в расстегнутом, жилете кидался во все стороны и бессмысленно выкрикивал в темноту: «Анриэт! Анриэт!» Проснулись девочки и, стоя у окна в ночных рубашках, звали мать. Отец поспешил наверх, чтобы их успокоить.

И тут произошло нечто ужасное, что почти не поддается описанию, ибо в минуты чрезмерного душевного напряжения во всем облике человека столько трагизма, что не передать ни пером, ни кистью. Толстяк спустился по стонущим под его тяжестью ступеням с изменившимся, бесконечно усталым и вместе с тем гневным выражением лица. В руке он держал письмо.

– Верните всех, – сказал он управляющему еле слышным голосом. – Верните людей, ничего не нужно. Жена ушла от меня.

У этого смертельно раненного человека хватило выдержки, нечеловеческой выдержки, не показать своего горя перед столпившимися вокруг людьми, которые с любопытством на него глазели, а потом, испуганные, смущенные, пристыженные, от него отвернулись. Собрав последние силы, он прошел, ни на кого не глядя, в читальню и потушил там свет; потом мы услышали, как его тучное, грузное тело с глухим стуком опустилось в кресло, и до нас донеслись громкие, отчаянные рыдания, – так мог плакать только

человек, никогда в жизни не плакавший. И это стихийное горе потрясло нас всех, даже самого ничтожного из нас. Ни один кельнер, никто из привлеченных любопытством гостей не осмелился улыбнуться или проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим, словно пристыженные этим сокрушительным взрывом чувства, прокрались мы в свои комнаты, а там, в темной читальне, наедине с самим собой, всхлипывал этот убитый горем человек, пока один за другим гасли огни в доме, полном шёпотов, шорохов и вздохов.

Естественно, что такое происшествие, разразившееся как удар грома у нас на глазах, сильно взволновало людей, привыкших к однообразному и беззаботному времяпровождению. Но хотя причиной тех ожесточенных стычек, которые возникли за нашим столом и чуть не привели к взаимным оскорблениям действием, и явился этот удивительный случай, суть спора была в глубоких разногласиях, в столкновении противоположных взглядов на жизнь. Благодаря нескромности горничной, прочитавшей письмо, которое супруг, не помня себя, в бессильном гневе скомкал и швырнул на пол, стало известно, что мадам Анриэт уехала не одна, а, сговорившись с молодым французом (симпатии к которому у большинства теперь быстро убывали).

На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что эта вторая мадам Бовари бросила своего толстого провинциала мужа ради элегантного молодого красавца. Но все в доме были сбиты с толку и возмущены известием, что ни фабрикант, ни его дочери, ни даже сама мадам Анриэт никогда раньше не видели этого ловеласа, и, следовательно, достаточно было двухчасовой вечерней прогулки по набережной и одного часа за черным кофе в саду, чтобы побудить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину на другой же день бросить мужа и двоих детей и последовать очертя голову за совершенно незнакомым человеком. Этот, казалось бы, очевидный факт был единогласно отвергнут нашим застольным кружком; все усмотрели здесь вероломство и хитрый маневр любовников: само собой разумеется, мадам Анриэт уже давно находилась в тайной связи с молодым человеком, и этот сердцеед явился сюда лишь для того, чтобы окончательно условиться о побеге. Совершенно невозможно, утверждали все, чтобы честная женщина после трехчасового знакомства вдруг сбежала по первому зову. Развлечения ради я начал спорить и энергично защищал возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, томясь в долголетнем скучном супружестве, в душе готова уступить первому смелому натиску. Мои неожиданные возражения подлили масла в огонь, и спор сразу стал всеобщим; особенно разгорелись страсти, когда обе супружеские пары, как немецкая, так и итальянская, с прямо-таки оскорбительным презрением принялись отрицать *coup de foudre*² как нелепость и пошлую романтическую выдумку.

Нет нужды излагать все подробности словесного боя, длившегося от супа до пудинга. За табльдотом остроумны только заправские остряки, а доводы, к

² Любовь с первого взгляда; буквально – удар молнии (франц.).

которым прибегают в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и приводятся наспех, наобум. Трудно также объяснить, почему наш спор так быстро принял столь язвительный оборот, – думается, тут сыграло роль невольное желание обоих супругов исключить возможность такого легкомыслия и подобной опасности для своих жен. К сожалению, они не придумали ничего более удачного, чем возразить мне, что так может говорить только тот, кто судит о женщинах лишь по случайным, дешевым победам холостяка; это уже разозлило меня, а когда вдобавок немка начала авторитетным тоном поучать меня, что бывают настоящие женщины, а бывают и «проститутки по натуре», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриэт, терпение мое лопнуло, и я в свою очередь перешел в наступление.

Я заявил, что лишь страх перед собственными желаниями, перед демоническим началом в нас заставляет отрицать тот очевидный факт, что в иные часы своей жизни женщина, находясь во власти таинственных сил, теряет свободу воли и благоразумие, и добавил, что некоторым людям, по-видимому, нравится считать себя более сильными, порядочными и чистыми, чем те, кто легко поддается соблазну, и что, по-моему, гораздо более честно поступает женщина, которая свободно и страстно отдается своему желанию, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать мужа в его же объятиях, как это обычно принято. Вот примерно то, что я говорил, и чем яростней нападали другие на бедную мадам Анриэт, тем с большей горячностью я ее защищал (что, по правде сказать, не вполне отвечало моему внутреннему убеждению). Мои слова, точно уколы рапирой, задели за живое обе супружеские пары, и они нестройным квартетом так ожесточенно напустились на меня, что старый добродушный датчанин, наблюдавший за нами, словно судья с секундомером в руке на футбольном матче, был вынужден время от времени предостерегающе постукивать по столу: «Gentlemen, please».³ Но это помогало лишь на минуту. Один из супругов, красный как рак, уже раза три вскакивал из-за стола, и только уговоры жены едва сдерживали его пыл; еще немного – и дискуссия окончилась бы потасовкой, если бы миссис К. внезапно не пролила масло на бурные волны нашего спора.

Миссис К., представительная, пожилая англичанка с белоснежными волосами, по молчаливому уговору была почетной председательницей нашего стола. Она держалась очень прямо, была одинаково приветлива со всеми, говорила мало, но с интересом прислушивалась к разговорам окружающих: уже одна ее наружность оказывала благотворное действие. От нее веяло спокойствием и аристократической сдержанностью. Она ни с кем близко не сходилась и в то же время выказывала каждому знаки внимания; большей частью она сидела с книгою в саду, иногда играла на рояле и лишь изредка присоединялась к обществу или вела оживленный разговор. Ее присутствие было едва ощутимо, и, однако, мы все невольно подчинялись ей. И сейчас, как только она заговорила, нам стало очень стыдно, что мы так шумно и

³ Господа, прошу вас (англ.).

необузданно вели себя.

Миссис К. воспользовалась паузой, наступившей после того, как немец резко вскочил и тут же, по слову жены, покорно уселся на свое место. Она вдруг подняла свои ясные серые глаза, как-то нерешительно посмотрела на меня и потом деловито и четко по-своему уточнила предмет нашего спора:

– Итак, если я верно поняла вас, вы считаете, что мадам Анриэт... что женщина может быть вовлечена в неожиданную авантюру, что она может совершать поступки, которые за час до того ей самой показались бы немыслимыми и в которых ее нельзя винить?

– Я в этом убежден, сударыня, – ответил я.

– В таком случае вы отрицаете всякое мерило нравственности, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что *crime passionel*,⁴ как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще излишне. Тогда без особого труда – а вы трудитесь на совесть, – добавила она с улыбкой, – можно обнаружить страсть в любом преступлении и оправдать его этой страстью.

Она говорила спокойно, почти весело, и это так понравилось мне, что я, невольно подражая ее деловитому тону, ответил полушутя-полусерьезно:

– Государственное правосудие решает такие вопросы, несомненно, строже, чем я: его долг – охранять общественную нравственность и благопристойность, и это вынуждает его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не считаю нужным брать на себя роль прокурора: я предпочитаю профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем судить их.

Ясные серые глаза миссис К. с минуту в упор смотрели на меня; она медлила с ответом. Я подумал, что она не все поняла, и уже собирался повторить ей сказанное по-английски, но она вновь стала задавать мне вопросы с удивительной серьезностью, словно экзаменуя меня.

– Разве, по-вашему, не позорно, не отвратительно, что женщина бросает своего мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, не зная даже, достоин ли он ее любви? Неужели вы действительно можете оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение уже не очень молодой женщины, которой хотя бы ради детей следовало вести себя более достойно.

– Повторяю, сударыня, – ответил я, – что я отказываюсь судить или осуждать. Вам я могу чистосердечно признаться, что я немного пересолил – бедная мадам Анриэт, конечно, не героиня, даже не искательница сильных ощущений, и менее всего смелая, страстная натура. Насколько я ее знаю, она лишь заурядная, слабая женщина, к которой я питаю некоторое уважение за то, что она нашла в себе мужество отдаться своему желанию, но еще больше она внушает мне жалость, потому что не сегодня-завтра она будет очень несчастна. То, что она сделала, было, может быть, глупо и, несомненно, опрометчиво, но ни в коем случае нельзя назвать ее поступок низким и подлым. Вот почему я настаиваю на том, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную

⁴ Преступление, вызванное страстью (франц.).

женщину.

– А вы сами? Вы всё так же уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между порядочной женщиной, с которой вы говорили позавчера, и той, другой, которая вчера бежала с первым встречным?

– Никакой. Решительно никакой, ни малейшей.

– It that so?⁵ – невольно произнесла она по-английски; по-видимому, разговор необычайно ее занимал. После минутного раздумья она снова вопросительно посмотрела на меня своими ясными глазами.

– А если бы завтра вы встретили мадам Анриэт, скажем в Ницце, под руку с этим молодым человеком, поклонились бы вы ей?

– Конечно.

– И заговорили бы с ней?

– Конечно.

– А если... если бы вы были женаты, вы познакомили бы такую женщину со своей женой, как будто ничего не произошло?

– Конечно.

– Would you really?⁶ – снова спросила она по-английски, и в ее голосе прозвучало недоверие и изумление.

– Surely I would.⁷ – ответил я ей тоже по-английски.

Миссис К. молчала. Казалось, она напряженно думала. Внезапно и как бы удивляясь собственному мужеству, она сказала, взглянув на меня:

– I don't now, if I would. Perhaps I might do it also.⁸

И с той удивительной непринужденностью, с какой одни англичане умеют учтиво, но решительно оборвать разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Ее вмешательство водворило спокойствие, и в глубине души все мы, недавние враги, были признательны ей за то, что угрожающе сгустившаяся атмосфера разрядилась; перекинувшись безобидными шутками, мы вежливо откланялись и разошлись.

Хотя наш спор и закончился по-джентельменски, но после той вспышки между мною и моими противниками появилась известная отчужденность. Немецкая чета держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно язвительно осведомлялись у меня, не слыхал ли я чего-нибудь о «сага signora Henrietta». ⁹ Несмотря на внешнюю вежливость, сердечность и непринужденность, прежде царившие за нашим столом, безвозвратно исчезли.

Ироническая холодность моих противников была для меня особенно

⁵ Так ли? (англ.)

⁶ В самом деле? (англ.)

⁷ Конечно, да (англ.).

⁸ Не знаю, как бы я поступила. Может быть, так же (англ.).

⁹ Дорогой синьоре Энриэтте (итал.).

ощутима благодаря исключительному вниманию, какое оказывала мне миссис К. Обычно на редкость сдержанная, не склонная к разговорам с сотрапезниками во внеобеденное время, теперь она нередко заговаривала со мной в саду и – я бы даже сказал – отличала меня, ибо хотя бы короткая беседа с ней была знаком особой милости. Откровенно говоря, она даже искала моего общества и пользовалась всяким поводом, чтобы заговорить со мной; это было так очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, тщеславные мысли, не будь она убеленной сединой старухой. Но о чем бы мы ни говорили, наш разговор неизбежно возвращался все к тому же, к мадам Анриэт; казалось, моей собеседнице доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять в непостоянстве и легкомыслии забывшую свой долг женщину. Но в то же время ее, видимо, радовало, что симпатии мои неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриэт и что меня нельзя было заставить отказаться от этих симпатий. Она неуклонно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что и думать об этом странном, почти ипохондрическом упорстве.

Так продолжалось пять или шесть дней, и она все еще ни единым словом не выдала мне, почему эти разговоры так занимают ее. А в том, что это именно так, я окончательно убедился, когда однажды на прогулке упомянул, что мое пребывание здесь приходит к концу и что я думаю послезавтра уехать. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, и серые глаза омрачились.

– Как жаль, мне еще о многом хотелось поговорить с вами.

И с этой минуты, по овладевшей ею рассеянности и беспокойству, я понял, что она всецело поглощена какой-то мыслью. Под конец она сама, казалось, это заметила и, прервав беседу, пожала мне руку и сказала:

– Я сейчас не в силах ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам.

И, против своего обыкновения, быстрыми шагами направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, решительным почерком. К сожалению, в молодые годы я легкомысленно обходился с письменными документами, так что не могу передать ее письмо дословно; попытаюсь приблизительно изложить его содержание. Она писала, что вполне сознает всю странность своего поведения, но спрашивает меня, может ли она рассказать мне один случай из своей жизни. Это было очень давно и уже почти не имеет значения для ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что больше двадцати лет волнует и мучает ее. Поэтому, если я не сочту это с ее стороны назойливостью, она просит уделить ей час времени.

Письмо, содержание которого я передаю лишь вкратце, чрезвычайно меня заинтересовало: уже одно то, что оно было написано по-английски, придавало ему какую-то особую ясность и решительность. И все же ответ дался мне нелегко, и я изорвал три черновика, прежде чем написал следующее:

«Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы этого потребуете. Конечно, я не смею просить вас сказать мне больше, чем вы сами захотите. Но в рассказе своем будьте вполне искренни передо мной и перед самой собой. Повторяю, ваше доверие я считаю большой для себя

честью».

Вечером записка была в ее комнате, и на следующее утро я получил ответ:

«Я с вами согласна – хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Я приложу все силы, чтобы не умолчать ни о чем ни перед самой собой, ни перед вами. Приходите после обеда ко мне в комнату... в мои шестьдесят семь лет я могу не опасаться кривотолков. Я не хочу говорить об этом в саду или на людях. Поверьте, мне и так было нелегко на это решиться».

Днем мы виделись за столом и чинно беседовали о безразличных предметах. Но в саду, когда я случайно ее встретил, она посторонилась с явным замешательством, и трогательно было видеть, как эта старая, седая женщина девически робко и смущенно свернула в боковую аллею.

Вечером, в назначенный час, я постучался к ней. Мне тотчас же открыли. Комната тонула в мягком полумраке, горела только маленькая настольная лампа, отбрасывая желтый круг света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, предложила мне кресло и сама села против меня; я чувствовал, что каждое движение было заранее продумано и рассчитано; и все же, очевидно, вопреки ее желанию, наступила пауза, которая становилась все тягостнее; но я не осмеливался заговорить, так как чувствовал, что в душе моей собеседницы происходит борьба сильной воли с не менее сильным противодействием. Снизу, из гостиной, доносились отрывочные звуки вальса; я усердно вслушивался, стремясь уменьшить гнетущую тяжесть молчания. Видимо, она тоже почувствовала томительно неестественную напряженность затянувшейся паузы, потому что вдруг вся подобралась, как для прыжка, и заговорила:

– Трудно только начать. Уже два дня, как я приняла решение быть до конца искренней и правдивой; надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии; я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному-единственному моменту своей жизни, одному-единственному дню. Ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении двадцати четырех часов, а ведь я живу на свете уже шестьдесят семь лет; до одури я повторяю себе: какое это имеет значение, если бы даже один-единственный раз в жизни я поступила безрассудно? Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью, и когда я услышала, как спокойно вы рассуждаете о случае с мадам Анриэт, я подумала: быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрестанному самобичеванию. Будь я не англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано, и потому я сегодня делаю довольно странную попытку – оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это.

Как я уже говорила, я хочу описать один-единственный день моей жизни, все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, будет скучно для других. То, как я жила до сорока двух лет, можно рассказать в двух словах.

Мои родители были богатые лэндлорды, нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии, и, как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года проводили в своих поместьях, а зимний сезон – в Лондоне. Восемнадцать лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р. и десять лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга: три месяца в Лондоне, три месяца в поместьях, остальное время – в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семенной жизни. Оба мои сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло сорок лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой и погиб в какие-нибудь две недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже, и вот за одну ночь я сразу осиротела, и это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Оставаться еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было невозможно, и я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях.

С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение двадцати двух лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер, дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но город и вещи ничего не говорили мне, людей я избегала, – я была в трауре и не выносила их почтительно соболезнующих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний; я как-то отупела и словно ослепла, помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вождеденный конец.

На второй год моего вдовства и на сорок втором году жизни, не зная, как убить время, и спасаясь от гнетущего одиночества, я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по правде, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений.

Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни; на тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка.

Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков; их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал игорный зал, а я с каким-то бессознательным пиететом подражала всем его былым привычкам; так и начались те двадцать четыре часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь.

В тот день я обедала с герцогиней М., моей родственницей; после ужина, чувствуя себя еще недостаточно усталой, чтобы лечь спать, я пошла в казино.

Сама я не играла, а бродила между столами, наблюдая за людьми особым способом. Я говорю: особым способом, ибо этому научил меня покойный муж, когда однажды, соскучившись, я пожаловалась, что мне надоело наблюдать все время одни и те же лица: сморщенных старух, которые часами сидят здесь, прежде чем рискнут сделать ставку, прожженных профессионалов и неизменных кокоток – всю эту сомнительную, разношерстную публику, гораздо менее живописную и романтическую, чем в скверных романах, где она изображается как *fleur d'elegance*¹⁰ и европейская аристократия. Притом не надо забывать, что двадцать лет назад, когда здесь сверкало настоящее золото, шуршали банкноты, звенели наполеондоры, стучали пятифранковые монеты, казино являло собой куда более привлекательное зрелище, чем новомодный помпезный игорный дом, где в наши дни пошлейшие туристы вяло спускают свои обезличенные жетоны. Впрочем, и тогда уже меня мало занимали бесстрастные лица игроков. Но вот мой муж, который увлекался хиромантией, показал мне свой способ наблюдать, и он в самом деле оказался куда интереснее и увлекательнее, чем просто следить за игрой: совсем не смотреть на лица, а только на четырехугольник стола, и то лишь на руки игроков, приглядываясь к их поведению.

Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленый стол, в середине которого, как пьяный, мечется шарик рулетки, и на квадратики полей, которые словно густыми всходами покрываются бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупье одним взмахом своей лопатки сгребает весь урожай или часть его пододвигает счастливому игроку. Под таким углом зрения единственно живое за зеленым столом – это руки, множество рук, светлых, подвижных, настороженных рук, словно из нор выглядывающих из рукавов; каждая – точно хищник, готовый к прыжку, каждая иной формы и окраски: одни – голые, другие – взнузданные кольцами и позвякивающие цепочками, некоторые косматые, как дикие звери, иные влажные и вертлявые, как угри, но все напряженные и трепещущие от чудовищного нетерпения. Мне всякий раз невольно приходило в голову сравнение с ипподромом, где у старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не ринулись раньше срока; они так же дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы.

Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, как они хватают, медлят: корыстолюбца – по скрюченным пальцам, расточителя – по небрежному жесту, расчетливого – по спокойным движениям кисти, отчаявшегося – по дрожащим пальцам; сотни характеров молниеносно выдают себя манерой, с какой берут в руки деньги: комкают их, нервно теребят или в изнеможении, устало разжав пальцы, оставляют на столе, пропуская игру. Человек выдает себя в игре – это прописная истина, я знаю. Но еще больше выдает его собственная рука. Потому что все или почти все игроки умеют управлять своим лицом, – над белым воротничком виднеется только холодная

¹⁰ Верх изящества (франц.).

маска *impassibilite*,¹¹ они разглаживают складки у рта, стискивают зубы, глаза их скрывают тревогу; они укрощают дергающиеся мускулы лица и придают ему притворное выражение равнодушия. Но именно потому, что они изо всех сил стараются управлять своим лицом, которое прежде всего бросается в глаза, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые, наблюдая за их руками, угадывают по ним все то, что хотят скрыть наигранная улыбка и напускное спокойствие. А между тем руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмиренные, словно дремлющие пальцы теряют власть над собой: в тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, одной ей присущее инстинктивное движение. И если научиться наблюдать это зрелище, как довелось мне благодаря пристрастию моего мужа, то такое многообразное проявление самых различных темпераментов захватывает сильнее, чем театр или музыка, я даже не могу вам описать, какие разные бывают руки у игроков: дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, по-паучьи загребаящими золото, и нервные, дрожащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся дотронуться до денег, благородные и низкие, грубые и робкие, хитрые и вместе с тем нерешительные – но каждая в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме четырех-пяти пар рук, принадлежащих крупье. Эти – настоящие автоматы, они действуют как стальные щелкающие затворы счетчика, они одни безучастны и деловиты; но даже эти трезвые руки производят удивительное впечатление именно по контрасту с их алчными и азартными собратьями; я бы сказала, что они, как полицейские, затянутые в мундир, стоят среди шумной, возбужденной толпы.

Особенное удовольствие доставляло мне узнавать привычки и повадки этих рук; через два-три дня у меня уже оказывались среди них знакомые, и я делила их, как людей, на симпатичных и неприятных, некоторые были мне так противны своей суетливостью и жадностью, что я отводила взгляд, как от чего-то непристойного. Всякая новая рука на столе означала для меня новое интересное переживание; иной раз, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, которое холодной светской маской маячило над крахмальной грудью смокинга или сверкающим бриллиантами бюстом.

В тот вечер я вошла в зал, миновала два переполненных стола, подошла к третьему и, вынимая из портмоне золотые, вдруг услышала среди гулкой, страшно напряженной тишины, какая наступает всякий раз, когда шарик, сам уже смертельно усталый, мечется между двумя цифрами, – услышала какой-то странный треск и хруст, как от ломающихся суставов. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела – мне даже страшно стало – две руки, каких мне еще никогда не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так что пальцы издавала сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были руки

¹¹ Бесстрастия (франц.).

редкой, изысканной красоты, и вместе с тем мускулистые, необычайно длинные, необычайно узкие, очень белые – с бледными кончиками ногтей и изящными, отливающими перламутром лунками. Я смотрела на эти руки весь вечер, они поражали меня своей неповторимостью; но в то же время меня пугала их взволнованность, их безумно страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею. И вот, в ту секунду, когда шарик с сухим коротким стуком упал в ячейку и крупье выкрикнул номер, руки внезапно распались, как два зверя, сраженные одной пулей. Они упали, как мертвые, а не просто утомленные, поникли с таким выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, что я не могу передать это словами. Ибо никогда, ни до, ни после, я не видела таких говорящих рук, где каждый мускул кричал и страсть почти явственно выступала из всех пор. Мгновение они лежали на зеленом сукне вяло и неподвижно, как медузы, выброшенные волной на взморье. Затем одна, правая, стала медленно оживать, начиная с кончиков пальцев: она задрожала, отпрянула назад, несколько секунд металась по столу, потом, нервно схватив жетон, покатила его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно она изогнулась, как пантера, и бросила, словно выплюнула, стофранковый жетон на середину черного поля. И тотчас же, как по сигналу, встрепенулась и скованная сном левая рука – она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей, как бы усталой от броска сестре, и обе лежали теперь рядом, вздрагивая и слегка постукивая запястьями по столу, как зубы стучат в ознобе; нет, никогда в жизни не видела я рук, которые с таким потрясающим красноречием выражали бы лихорадочное возбуждение. Всё в этом нарядном зале – глухой гул голосов, выкрики крупье, снующие взад и вперед люди и шарик, который, брошенный с высоты, прыгал теперь как одержимый в своей круглой, полированной клетке, – весь этот пестрый, мелькающий поток впечатлений показался мне вдруг мертвым и застывшим по сравнению с этими руками, дрожащими, задыхающимися, выжидающими, вздрагивающими, удивительными руками, на которые я смотрела как зачарованная.

Но больше я не в силах была сдерживаться: я должна была увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки, и боязливо – да, именно боязливо, потому что я испытывала страх перед этими руками, – мой взгляд стал нащупывать рукава и пробираться к узким плечам. И снова я содрогнулась, потому что это лицо говорило на том же безудержном, немыслимо напряженном языке, что и руки; столь же нежное и почти женственно-красивое, оно выражало ту же потрясающую игру страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица, и у меня была полная возможность созерцать его как маску или безглазую скульптуру, потому что глаза на этом лице ничего не видели, ничего не замечали. Неподвижно смотрел черный остекленелый зрачок, словно отражение в волшебном зеркале того темно-красного шарика, который задорно, игриво вертелся, приплясывая в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не видела я такого страстно

напряженного, такого выразительного лица. Узкое, нежное, слегка удлинненное, оно принадлежало молодому человеку лет двадцати пяти. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности, а казалось скорее лицом одержимого игорным азартом юноши; но все это я заметила лишь после, ибо в тот миг оно было всё страсть и неистовство. Небольшой рот с тонкими губами был приоткрыт, и даже на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно стучат зубы. Ко лбу прилипла светлая прядь волос, и вокруг крыльев носа что-то непрерывно трепетало, словно под кожей перекачивались мелкие волны. Его склоненная голова невольно подавалась все вперед и вперед, казалось, вот-вот она будет вовлечена в круговорот рулетки; и только тут я поняла, почему так судорожно сжаты его руки: лишь это противодействие, эта спазма удерживала в равновесии готовое упасть тело.

Никогда, никогда в жизни не встречала я лица, на котором так открыто, обнажённо и бесстыдно отражалась бы страсть, и я не сводила с него глаз, прикованная, зачарованная его безумием, как он сам – прыжками и кружением шарика. С этой минуты я ничего больше не замечала вокруг; все казалось мне бледным, смутным, расплывчатым, серым по сравнению с пылающим огнем этого лица, и, забыв о существовании других людей, я добрый час наблюдала за этим человеком, за каждым его жестом. Вот в глазах его вспыхнул яркий свет, сжатые узлом руки разлетелись, как от взрыва, и дрожащие пальцы жадно вытянулись – крупье пододвинул к нему двадцать золотых монет. В эту секунду лицо его внезапно просияло и сразу помолодело, складки разгладились, глаза заблестели, сведенное судорогой тело легко и радостно выпрямилось; свободно, как всадник в седле, сидел он, торжествуя победу, пальцы шаловливо и любовно перебирали круглые звенящие монеты, сталкивали их друг с другом, заставляли танцевать, мелодично позванивать. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул зеленый стол взглядом молодой охотничьей собаки, которая ищет след, и вдруг рывком швырнул всю кучку золотых монет на один из квадратиков. И опять эта настороженность, это напряженное выжидание. Снова поползли от губ к носу мелкие дрожащие волны, судорожно сжались руки, лицо юноши исчезло, скрылось за выражением алчного нетерпения, которое тут же сменилось разочарованием: юношески возбужденное лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым, взгляд потускнел и погас – и все это в одно-единственное мгновение, когда шарик упал не на то число. Он проиграл; несколько секунд он смотрел перед собой тупо, как бы не понимая, но вот, словно подхлестнутые выкриком крупье, пальцы снова схватили несколько золотых монет. Однако уверенности уже не было, он бросил монеты сперва на одно поле, потом, передумав, – на другое, и когда шарик уже был в движении, быстро, повинаясь внезапному наитию, дрожащей рукой швырнул еще две смятые бумажки на тот же квадрат.

Эта захватывающая смена удач и неудач продолжалась безостановочно около часа, и в течение этого часа, затаив дыхание, я ни на миг не отводила зачарованного взгляда от этого беспрерывно меняющегося лица, на котором, отливая и приливая, кипели все страсти; я не отрывала глаз от этих магических рук, каждый мускул которых пластически передавал всю подымающуюся и

ниспадающую кривую переживаний. Никогда в театре не всматривалась я так напряженно в лицо актера, как в это лицо, по которому, словно свет и тени на ландшафте, пробегала беспрестанно меняющаяся гамма всех цветов и ощущений. Никогда не была я так увлечена игрой, как этим отраженным чужим волнением; если бы кто-нибудь наблюдал за мной в этот момент, он приписал бы мой пристальный, неподвижный, напряженный взгляд действию гипноза; и правда, мое состояние было близко к совершенному оцепенению; я не могла оторваться от этого лица, и всё в зале – огни, смех, людей – ощущала лишь смутно, как желтую дымку, среди которой пламенело это лицо – огонь среди огней. Я ничего не слыхала, ничего не чувствовала, не замечала, как теснились вокруг люди, как другие руки внезапно протягивались, словно щупальцы, бросали деньги или загребали их; я не замечала шарика, не слышала голоса крупье и в то же время видела, словно во сне, все происходящее по этим рукам и по этому лицу совершенно отчетливо, увеличенное, как в вогнутом зеркале, благодаря страстному волнению этого человека; падал ли шарик на черное или красное, крутился он или останавливался, мне незачем было смотреть на рулетку: всё – проигрыш и выигрыш, надежда и разочарование – отражалось с невиданной силой в его мимике и жестах.

Но вот наступила ужасная минута: то, чего в глубине души я все время смутно опасалась, что томило меня, как надвигающаяся гроза, внезапно ударило по моим натянутым нервам. Снова шарик с коротким дребезжащим стуком ткнулся а углубление, снова наступила секундная пауза, – сотня людей затаила дыхание, голос крупье возвестил «ноль», и его проворная лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие бумажки. И в эту минуту крепко сжатые руки сделали невыразимо страшное движение; они как бы вскочили, чтобы схватить что-то, чего не было, и в изнеможении опустились на стол. Потом они внезапно ожили, сбегали со стола, стали карабкаться, как дикие кошки, по всему туловищу, вверх, вниз, вправо, влево, лихорадочно рыская по карманам – не завалилась ли где-нибудь забытая монета. Неизменно возвращались они пустыми, все яростней возобновляя свои бессмысленные, бесполезные поиски, а рулетка уже снова вертелась и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, и тысячи негромких разнообразных шумов наполняли зал. Я дрожала, потрясенная ужасом: я переживала все это так отчетливо, словно то были мои пальцы, отчаянно рывшиеся в карманах и складках смятого платья в поисках хотя бы одной монеты. И вдруг сидевший против меня порывисто вскочил, как человек, которому тошнота подступила к горлу, стул с грохотом полетел на пол. Но, не замечая этого, не видя людей, испуганно и удивленно уступавших ему дорогу, он, шатаясь, побрел прочь.

Увидев это, я словно окаменела. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: на смерть. Кто так встает, не пойдет в гостиницу, в ресторан, к женщине, на станцию железной дороги, к чему-нибудь живому, а прямо бросится в пропасть. Даже самые зачерствелые в этом аду должны были почувствовать, что у него больше ничего нет – ни дома, ни в банке, ни у родных, что он рискнул последним достоянием, что ставкой была его жизнь и теперь он побрел куда-то, откуда уже не вернется.

Все время я боялась этого, с первого же взгляда чутьем поняла, что здесь дело идет о чем-то более важном, чем выигрыш или проигрыш. Я чувствовала, что эта всепоглощающая страсть должна разрушить самое себя. И все же словно черная молния ослепила меня, когда я увидела, как жизнь внезапно ушла из его глаз и смерть серою пеленою застлала только что столь живое лицо. И так велика была сила воздействия его выразительных жестов, что, когда он сорвался с места и, пошатываясь, побрел прочь, я невольно ухватилась за стол; я ощутила всем своим существом нетвердость его походки, так же как до того всеми нервами, всеми фибрами души ощущала его игорный азарт. И что-то толкнуло меня; я должна была идти за ним, ноги сами пошли, я даже не сознавала, что делаю. Не обращая ни на кого внимания, не помня себя, я шла, я бежала по коридору к выходу.

Он стоял у вешалки, служитель подавал ему пальто. Но руки не повиновались ему, и служитель бережно, как больному, помогал ему попасть в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать на чай, но там было пусто. Тут он, казалось, вдруг вспомнил все, смущенно пробормотал несколько слов, снова, как в зале, рванулся вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по лестнице казино, провожаемый поначалу презрительной, а потом понимающей усмешкой служителя.

Все это было так страшно, что мне стало как-то стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что как в театре наблюдаю чужое страдание, но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула мантию и уже без всякой мысли, непроизвольно, как автомат, побежала в темноту за этим чужим человеком.

Миссис К. на мгновение остановилась. Она неподвижно сидела против меня и говорила почти без пауз, со свойственным ей спокойствием и обстоятельностью, видимо подготовившись и тщательно припомнив ход событий. Теперь она впервые запнулась, и прервала свой рассказ.

– Я обещала вам и самой себе, – начала она не без волнения, – рассказать все с полной откровенностью. И теперь я прошу вас отнестись ко мне с полным доверием и не искать в моих поступках скрытых побуждений, которых я ныне, быть может, и не стыдилась бы, но которых тогда и в помине не было. Итак, повторяю, когда я выбежала на улицу за этим отчаявшимся игроком, я отнюдь не была влюблена в него и даже не думала о нем как о мужчине; ведь мне уже было за сорок, и после смерти мужа я ни разу не взглянула ни на одного мужчину. С этим было покончено навсегда; я должна вам это сказать, иначе вы не почувствуете весь ужас того, что потом произошло. Правда, мне трудно было бы определить чувство, которое с такой силой влекло меня тогда за этим несчастным, тут было и любопытство, но прежде всего страх перед чем-то ужасным, что я с первой же минуты ощутила. Страх перед невидимой тучей, нависшей над этим юношей. Но такие ощущения нельзя расчленять и анализировать уже потому, что они слишком внезапно, слишком властно овладевают вами. Вероятно, мой порыв был просто инстинктивным желанием помочь, – так оттаскивают в сторону ребенка, бегущего навстречу автомобилю.

Разве объяснишь, почему люди, не умеющие плавать, бросаются с моста за утопающим? Они движимы неодолимой силой, эта сила толкает их в воду, не давая времени опомниться и сообразить, как это бессмысленно и опасно. И точно так же, не думая, не отдавая себе отчета, последовала я тогда за ним из игорного зала в вестибюль, а из вестибюля на площадку перед казино.

Я уверена, что и вы, да и всякий чуткий человек невольно поддался бы этому тревожному любопытству, потому что нельзя себе представить более ужасного зрелища, чем этот молодой человек, не старше двадцати пяти лет, который, шатаясь точно пьяный, медленно, по-стариковски волоча непослушные ноги, тащился по лестнице. Спустившись вниз, он как мешок упал на скамью. И снова я содрогнулась, ибо ясно видела – это конченный человек. Так падает лишь мертвый или тот, в ком ничто уже не цепляется за жизнь. Голова как-то боком откинулась на спинку, руки безжизненно повисли вдоль туловища, и в тусклом свете фонарей его можно было принять за человека, пустившего себе пулю в лоб. И вот – не могу объяснить, как возникло это видение, но внезапно оно предстало передо мной во всей своей страшной, почти осязаемой реальности: я увидела его застрелившимся; я была твердо уверена, что в кармане у него револьвер и что завтра его найдут на этой или на другой скамье мертвым и залитым кровью. Он упал, как падает камень в пропасть, не останавливаясь, пока не достигнет дна; я никогда не думала, что одним телодвижением можно выразить всю полноту изнеможения и отчаяния.

Теперь представьте себе мое состояние: я остановилась в двадцати или тридцати шагах от скамейки, где был неподвижно распростерт несчастный юноша, не зная, что предпринять, побуждаемая, с одной стороны, желанием помочь, с другой, – удерживаемая унаследованной и привитой воспитанием боязнью заговорить на улице с незнакомым человеком. Газовые фонари тускло мерцали под затянутым тучами небом; изредка мелькала фигура прохожего; приближалась полночь, и я была почти наедине с этой мрачной тенью. Пять, десять раз порывалась я подойти к нему, но всякий раз меня останавливал стыд или, быть может, тайный страх: ведь падающий нередко увлекает за собой спасителя, и все время я сознавала нелепость и комичность своего положения; но я не могла ни заговорить, ни что-либо предпринять, ни покинуть его. И, надеюсь, вы поверите, мне, что, быть может, целый час, бесконечный час, пока тысячи и тысячи всплесков невидимого моря отмеривали время, я в нерешительности топталась на месте, потрясенная и загипнотизированная зрелищем полного изничтожения человека.

Но у меня не хватало мужества что-нибудь сказать или сделать, и я простояла бы так полночи или, повинуясь голосу благоразумия, пошла бы домой – помнится, я даже почти решилась бросить на произвол судьбы злополучного игрока, – как вдруг вмешательство стихийных сил положило конец моим колебаниям: начался дождь. Весь вечер нагоняло ветром с моря тяжелые весенние тучи, воздух был душный, чувствовалось, что небо нависло совсем низко, – и вот внезапно упала капля, а за ней хлынул подхлестнутый ветром тяжелый, сплошной ливень. Спасаясь от него, я бросилась под навес киоска, но, несмотря на раскрытый зонтик, неистовый вихрь, прыгая и крутясь,

обдавал брызгами мое платье. Капли яростно ударялись о землю, и холодная водяная пыль попадала мне на лицо и руки.

Но – и это было так ужасно, что еще сейчас, спустя двадцать пять лет, как вспомню, сердце сжимается, – несчастный продолжал неподвижно сидеть на скамье под проливным дождем. Из всех сточных труб, булькая, бежала вода, из города доносился грохот экипажей, справа и слева мелькали темные фигуры с поднятым воротником: все живое пряталось, бежало, спасалось, искало убежища, и в людях и в животных чувствовался страх перед разбушевавшейся стихией – только этот черный человеческий комок на скамье не двинулся, не шелохнулся. Я уже говорила, что этот человек обладал магическим свойством выражать каждое свое чувство движением или жестом, и ничто, ничто на свете не могло с такой потрясающей силой передать отчаяние, полный отказ от самого себя, как бы смерть заживо, как эта неподвижность, это безжизненное, бесчувственное невнимание к ливню, это неимение сил подняться и пройти несколько шагов до укрытия, это мертвое равнодушие к собственному бытию. Ни один скульптор, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не заставили меня с такой силой почувствовать предельное отчаяние, предельную земную муку, как этот живой человек под бушующей стихией, слишком усталый, чтобы сделать малейшую попытку оградиться от нее. Я не могла этого вынести; я рванулась к нему сквозь холодный хлещущий дождь и встряхнула его: «Идемте!» Что-то мелькнуло в его мутном взгляде, он сделал слабое движение рукой, но не понял меня. «Идемте», – я дернула его за мокрый рукав уже с силой и почти сердито. Тогда он медленно, как-то безвольно поднялся со скамьи. «Что вам надо?» – спросил он, и у меня не было ответа, потому что я и сама не знала, куда его увести, только бы прочь отсюда, от этого холодного ливня, от этой бессмысленной, самоубийственной позы глубочайшего отчаяния! Я не выпускала его руки и тащила безвольное тело все дальше, к киоску, где узкий выступ крыши хоть немного защитит нас от яростного натиска дождя и ветра. Больше я ни о чем не думала, ничего не хотела. Только бы втащить этого человека под крышу, на сухое место, – других мыслей у меня не было.

И вот мы очутились рядом на этом узком сухом местечке; за спиной у нас были закрытые ставни киоска, над головой – слишком маленький навес, и неутихающий ливень обдавал холодными брызгами нашу одежду и лица. Положение становилось невыносимым. Я просто не могла больше стоять рядом с этим насквозь промокшим чужим человеком. Но, притащив его сюда, я не могла и покинуть его без единого слова. Что-то должно было произойти, и я заставила себя здраво взглянуть на дело. Лучше всего, подумала я, отвезти его в экипаже к нему домой, а потом вернуться в свой отель; завтра он уже сам найдет выход. И я спросила человека, неподвижно стоявшего рядом со мной и пристально смотревшего в темноту:

– Где вы живете?

– У меня нет квартиры... Я только вечером приехал из Ниццы... ко мне нельзя.

Последние слова я поняла не сразу. Только потом мне стало ясно, что он

принимал меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые толпами бродят по ночам около казино, в надежде выудить деньги у счастливого игрока или пьяного. Да и что мог он еще подумать – ведь только теперь, когда я все это вам рассказываю, чувствую я всю невероятность и фантастичность моего положения; поистине, бесцеремонность, с какой я сорвала его со скамьи и потащила за собой, отнюдь не соответствовала поведению порядочной женщины. Но об этом я тогда не подумала; лишь позже и слишком поздно догадалась я о его чудовищном заблуждении относительно меня. Ибо иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только усугубить недоразумение. Я сказала:

– Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вам нельзя оставаться. Вам надо где-нибудь укрыться.

Тут только я поняла его страшную ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне, а насмешливо ответил:

– Нет, мне не надо комнаты, мне вообще ничего не надо. Не трудись, из меня ничего не выжмешь. Ты обратилась не по адресу, у меня нет денег.

Это было сказано с таким ужасающим равнодушием, этот промокший, вконец опустошенный человек стоял так безжизненно, бессильно прислонившись к стене, что я не успела даже мелочно, глупо обидеться, настолько я была потрясена. Мною владело чувство, возникшее в первую минуту, когда он, шатаясь, вышел из зала, и не покидавшее меня в течение последнего фантастически нелепого часа: живое существо, юное, дышащее, обречено на смерть, и я должна спасти его. Я подошла ближе.

– Не беспокойтесь о деньгах, идемте. Здесь вам нельзя оставаться, я как-нибудь устрою вас. Не беспокойтесь ни о чем. Только идемте скорей.

Он повернул голову, – дождь глухо барабанил вокруг, и из водосточной трубы к нашим ногам сбегала вода, – и я поняла, что он впервые пытается разглядеть мое лицо в темноте. Он пошевелился, видимо медленно просыпаясь от своей летаргии.

– Ну, как хочешь, – сказал он сдаваясь. – Мне все равно. Ладно. Идем.

Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная фамильярность была мне неприятна, она даже ужаснула меня, сердце сжалось от страха. Но я побоялась одернуть его, ведь если бы я теперь оттолкнула его, он бы погиб и все мои усилия пропали бы даром.

Мы прошли несколько шагов, отделявших нас от казино. Тут только я подумала, как же мне быть с ним дальше? Лучше всего, быстро решила я, отвезти его в какой-нибудь отель и сунуть в руку деньги, чтобы он мог переночевать и завтра уехать домой; что будет дальше – об этом я даже не думала. К казино то и дело подъезжали экипажи, я подозвала один из них, и мы сели. Когда кучер спросил, куда ехать, я сперва не знала, что ответить. Я понимала, что моего промокшего до нитки спутника не примут в дорогом отеле, и была так неопытна в такого рода делах, что, не подумав о двусмысленности положения, крикнула кучеру:

– В какую-нибудь гостиницу попроще.

Кучер равнодушно погнал лошадей. Мой сосед не произносил ни слова;

колеса гроыхали, и дождь яростно барабанил в стекло; запертая в этом тесном, похожем на гроб ящике, я испытывала такое чувство, словно я везла мертвое тело. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы прервать гнетущее молчание, но мне ничего не приходило в голову. Через несколько минут экипаж остановился; я вышла первая, и пока мой спутник машинально, словно спросонья, захлопывал дверцу, я расплатилась с кучером. Мы очутились у подъезда маленькой незнакомой гостиницы; узенький стеклянный навес защищал нас от дождя, который с яростным упорством рвал и кромсал непроглядную тьму.

Мой спутник, словно изнемогая под тяжестью собственного тела, прислонился к стене; вода капала с его мокрой шляпы и измятой одежды. Словно его только что вытащили из реки и еще не привели в чувство, стоял он там, и у его ног образовался ручеек стекающей воды. Он даже не пытался отряхнуться, скинуть шляпу, с которой капли одна за другой падали на лицо. Ему было все равно. Я даже описать вам не могу, как поразила меня эта надломленность.

Но надо было действовать. Я опустила руку в сумочку.

– Вот вам сто франков, – сказала я, – возьмите себе комнату, а утром уезжайте обратно в Ниццу.

Он удивленно взглянул на меня.

– Я наблюдала за вами в игорном зале, – продолжала я, заметив, что он колеблется. – Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы собираетесь сделать глупость. Нет ничего стыдного в том, чтобы принять помощь. Вот, возьмите!

Но он отвел мою руку с неожиданной силой.

– Ты молодчина, – сказал он, – но не бросай деньги на ветер. Мне уже ничем не поможешь. Буду я спать этой ночью или нет – совершенно безразлично. Завтра все равно конец. Мне уже не поможешь.

– Нет, вы должны взять, – настаивала я. – Завтра вы будете думать иначе. А покамест поднимитесь наверх и хорошенько выпитесь. Днем вам все покажется в другом свете.

Но когда я протянула ему деньги, он почти злобно оттолкнул мою руку.

– Оставь, – повторил он глухо, – нет смысла. Лучше я сделаю это на улице, чем кровью пачкать людям комнату. Сотня франков меня не спасет, да и тысяча тоже. Я все равно завтра опять пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока не спустил бы всего. К чему начинать снова? Хватит с меня.

Вы не можете себе представить, как глубоко проникал мне в душу этот глухой голос. Подумайте только: рядом с вами стоит, дышит, живет красивый молодой человек, и вы знаете, что, если не напрячь все силы, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через два часа будет трупом. И тут меня охватило яростное, неистовое желание победить это бессмысленное сопротивление. Я схватила его за руку:

– Довольно! Вы сейчас же подниметесь наверх и возьмете комнату, а завтра утром я отвезу вас на вокзал. Вы должны уехать отсюда, вы должны завтра же уехать домой, и я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу вас в

поезде с билетом в руках. В ваши годы не швыряются жизнью из-за проигрыша в несколько сот или тысяч франков. Это трусость, истерия, бессмысленная злоба и раздражение. Завтра вы сами признаете, что я права.

– Завтра! – повторил он с мрачной иронией. – Завтра. Если бы ты знала, где я буду завтра! Если бы сам я это знал, – это даже любопытно. Нет, ступай домой, милая, не трудись и не бросай деньги на ветер.

Но я не уступала. Во мне была какая-то одержимость, какое-то неистовство. Я крепко схватила его руку и сунула в нее банкноты.

– Вы возьмете деньги и сейчас же пойдете наверх. – С этими словами я решительно подошла к звонку. – Так, теперь я позвонила, сейчас выйдет портье, вы подниметесь и ляжете спать. Завтра утром, ровно в девять, я жду вас здесь и отвожу на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, чтобы вам добраться до дому. А теперь ложитесь, вам надо выспаться, не думайте больше ни о чем!

В ту же минуту щелкнул замок, и дверь отворилась.

– Идем, – вдруг решительно произнес мой спутник жестким, озлобленным тоном, и я почувствовала, как его пальцы словно железным обручем сдавили мне руку. Я испугалась. Я так страшно испугалась, что меня словно оглушило, в уме помутилось... Я хотела сопротивляться, вырваться... но воля моя была парализована и я... вы меня поймете... я... не могла же я бороться с этим чужим мне человеком – мне было стыдно перед портье, который стоял в дверях, дожидаясь, когда мы войдем. И вот... я очутилась в гостинице. Я хотела что-то сказать, объяснить, но не могла произнести ни звука; на моей руке тяжело и властно лежала его рука... я смутно сознавала, что он ведет меня по лестнице... звякнул ключ...

И я оказалась наедине с этим чужим человеком, в чужой комнате, в какой-то гостинице, названия которой я не знаю и по сей день.

Миссис К. снова умолкла и вдруг встала с кресла. Видимо, голос изменил ей. Она подошла к окну, несколько минут молча смотрела на улицу или, может быть, просто стояла, прижавшись лбом к холодному стеклу. Я не смел взглянуть на нее, мне было тяжело видеть старую женщину в таком волнении, и я сидел не шевелясь, не задавая вопросов, не произнося ни слова, и ждал. Наконец, она вернулась к креслу и спокойно села против меня.

– Ну вот – самое трудное оказано. И, надеюсь, вы поверите мне, если я повторю вам и поклянусь всем святым для меня – моей честью, моими детьми, – что до той минуты мне и в голову не приходила мысль о... о близости с этим чужим человеком, что не только не по своей воле, но совершенно бессознательно я очутилась в этом положении, как в западне, расставленной на моем ровном жизненном пути... Я поклялась быть искренней перед вами и перед самой собой и повторяю, я была вовлечена в эту трагическую авантюру только из-за какого-то иступленного желания помочь; ни о каких личных чувствах или побуждениях и речи быть не могло.

Вы избавите меня от рассказа о том, что произошло в той комнате в ту ночь; я все помню и ничего не хочу забывать. В ту ночь я боролась с человеком

за его жизнь; повторяю — дело шло о жизни и смерти. Слишком ясно я чувствовала, что этот чужой, уже почти обреченный человек жадно и страстно хватается за меня, как утопающий хватается за соломинку. Уже падая в пропасть, он цеплялся за меня со всем неистовством отчаяния. Я же всеми силами, всем, что мне было дано, боролась за его спасенье. Такие часы выпадают на долю человека только раз в жизни, и то одному из миллионов; не будь этого ужасного случая, и я никогда бы не узнала, как пылко, с какой исступленной и необузданной жадностью потерянный, пропащий человек упивается последней каплей живой, горячей жизни; никогда бы я, жившая до тех пор в полном неведении темных сил бытия, никогда бы я не постигла, как мощно и причудливо природа в едином дыхании переплетает жар и холод, жизнь и смерть, восторг и отчаяние. Эта ночь была так насыщена борьбой и словами, страстью, гневом и ненавистью, слезами мольбы и опьянения, что она показалась мне тысячелетием. И мы, в слитном порыве бросаясь в пропасть, один — неистово, другой — безотчетно, вышли из этого смертельного поединка преображенные, с новыми помыслами, с новыми чувствами.

Но я не хочу говорить об этом. Я не могу и не стану ничего описывать. Скажу только о первой минуте своего пробуждения. Я очнулась от свинцового сна, сбросила с себя оковы такой бездонной ночи, какой никогда раньше не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что увидела, был чужой потолок у меня над головой, потом очертания чужой, незнакомой, отвратительной комнаты, в которой я неведомо как очутилась. Сначала я убеждала себя, что это сон, только более легкий, более прозрачный, в который я погрузилась после того удушливого, сумбурного кошмара; но за окнами был яркий, режущий солнечный свет, снизу доносился уличный шум, стук колес, трамвайные звонки и людские голоса. И тут я поняла, что не сплю, что это явь. Невольно я приподнялась, силясь припомнить, где я, и вдруг я увидела — мне никогда не передать вам охватившего меня ужаса — чужого человека, спавшего рядом со мной на широкой кровати... чужого, чужого, совсем чужого, полуголого, незнакомого человека...

Нет, этот ужас не поддается описанию; он сразил меня, и я без сил опустилась на подушки. Но то был не спасительный обморок, не потеря сознания, напротив — я мгновенно вспомнила все страшное, непостижимое, что случилось со мной; у меня было одно желание — умереть от стыда и отвращения. Как могла я очутиться в какой-то подозрительной трущобе, в чужой кровати, с незнакомым человеком! Я отчетливо помню, как у меня перестало биться сердце; я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и погасить сознание, это ясное, до жути ясное сознание, которое все понимало, но ничего не могло осмыслить.

Я никогда не узнаю, долго ли я так пролежала в оцепенении — должно быть, так лежат мертвецы в гробу; знаю только, что я закрыла глаза и взывала к Богу, к небесным силам, молила, чтобы это оказалось неправдой, вымыслом. Но мои обостренные чувства уже не допускали обмана, я слышала в соседней комнате людские голоса и плеск воды, в коридоре шаркали шаги, и эти звуки говорили, что все это правда, жестокая, неумолимая правда.

Трудно сказать, сколько времени продолжалось это мучительное состояние: такие мгновения обладают иной длительностью, чем спокойные отрезки времени. Но внезапно меня охватил другого рода страх, пронизывающий, леденящий страх: а вдруг этот человек, имени которого я не знала, проснется и заговорит со мной! И я тотчас же поняла, что мне остается лишь одно: одеться и бежать, пока он не проснулся, больше никогда не попадаться ему на глаза, не говорить с ним, спастись бегством, пока не поздно. Скорее прочь отсюда, в свою жизненную колею, в свой отель, и с первым поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны! Больше никогда не встречаться с ним, не смотреть ему в глаза, не иметь свидетеля, обвинителя и соучастника! Эта мысль придала мне силы: осторожно, крадучись, воровскими движениями, дюйм за дюймом (лишь бы не шуметь!) пробиралась я от кровати к своему платью. Со всей осторожностью я оделась, дрожа всем телом, каждую секунду ожидая, что он проснется, – и вот удалось, я уже готова. Только шляпа моя лежала с другой стороны, в ногах кровати, и когда я подходила на цыпочках, чтобы взять ее, тут... я просто не могла поступить иначе: я должна была еще раз взглянуть на лицо этого чужого человека, который свалился в мою жизнь точно камень с карниза; лишь один раз хотела я взглянуть на него; и что самое удивительное: этот молодой человек, погруженный в сон, был действительно чужой для меня; в первый момент я даже не узнала его лица. Словно сметены были вчерашние, искаженные страстью, сведенные судорогой черты, – у этого юноши было совсем другое, совсем детское, мальчишеское лицо, сиявшее ясностью и чистотой. Губы, вчера закусенные и стиснутые; были мягко, мечтательно раскрыты и почти улыбались; волнистые белокурые пряди мягко падали на разгладившийся лоб, и ровное дыхание легкими волнами вздымало грудь.

Помните, я говорила вам, что никогда еще не видела выражения такого неистового азарта, как на лице этого незнакомца за игорным столом. Но никогда, даже у невинных младенцев, которые иногда во сне кажутся озаренными сиянием ангельской чистоты, не наблюдала я выражения такого лучезарного, такого поистине блаженного покоя. В этом лице, отражавшем тончайшие оттенки чувств, сейчас была райская отрешенность от всяческих забот и тревог. При этом неожиданном зрелище с меня, словно тяжелый черный плащ, соскользнули все страхи и все опасения – мне больше не было стыдно, я почти радовалась. Все страшное, непостижимое вдруг обрело смысл, я испытывала радость, гордость при мысли, что, если бы я не принесла себя в жертву, этот молодой, хрупкий, красивый человек, лежавший здесь безмятежно и тихо, словно цветок, был бы найден где-нибудь на уступе скалы окровавленный, бездыханный, с изуродованным лицом, с дико вытаращенными глазами; он был спасен, и спасла его я. И я смотрела материнским взглядом (иначе не могу назвать) на спящего, которого я вернула к жизни, как бы снова родив, с еще большими муками, чем собственных детей. Быть может, это звучит смешно, но в этой замызанной, омерзительной комнате, в мерзкой, грязной гостинице меня охватило такое чувство, словно я в церкви, блаженное ощущение чуда и святости. Из ужаснейшей минуты моей жизни возникла

другая, самая изумительная, самая просветленная.

Задела я что-нибудь или у меня вырвалось какое-то слово – не знаю. Но спящий вдруг открыл глаза. Я вздрогнула от испуга. Он стал удивленно осматриваться, видимо, так же как я, с трудом стряхивая с себя тяжелый, глубокий сон. Его взгляд недоуменно блуждал по чужой, незнакомой комнате, потом с удивлением остановился на мне. Но он еще не успел открыть рта, как я уже овладела собой: только не дать ему сказать ни слова, не допустить ни вопроса, ни фамильярного обращения, ничего не объяснять, не говорить о том, что произошло вчера и этой ночью!

– Мне надо уходить, – торопливо сказала я. – А вы одевайтесь. В двенадцать часов мы встретимся у входа в казино, там я позабочусь о дальнейшем.

И, не дожидаясь его ответа, я убежала, чтобы только не видеть этой комнаты, я бежала без оглядки из гостиницы, названия которой не знала, как не знала имени человека, с которым провела ночь.

Миссис К. на минуту прервала свой рассказ. Когда она вновь заговорила, в ее голосе уже не слышалось мучительного волнения. Как повозка, с трудом взобравшаяся на вершину, легко и быстро катится под гору, так непринужденно и свободно лилась теперь ее речь.

– Я бежала в свой отель по улицам, залитым утренним солнцем, после вчерашнего ливня воздух был чистый и легкий – и так же было у меня на душе. Вспомните, что я говорила вам: после смерти мужа я отказалась от жизни, дети больше не нуждались во мне, сама я была себе в тягость, а всякое существование без определенной цели – бессмысленно. Теперь впервые мне выпала задача спасая человека, я огромным усилием воли вырвала его из небытия. Оставалось одолеть еще кое-какие препятствия, и моя цель была бы достигнута. Итак, я прибежала к своему отелю, портье встретил меня удивленным взглядом ведь я вернулась домой только в девять утра, но мне и горя было мало, ни стыд, ни досада не угнетали меня. Желание жить, радостное сознание, что я кому-то нужна, горячо волновало кровь.

У себя в комнате я быстро переоделась, бессознательно (я заметила это только после) сняла траурное платье, заменив его более светлым, пошла в банк за деньгами, потом поспешила на вокзал справиться об отходе поезда; с необычайной энергией я сделала, кроме того, еще несколько дел. Оставалось только осуществить отъезд и окончательное спасение подкинутого мне судьбой человека.

Правда, нелегко было встретиться с ним, ибо всё вчерашнее произошло во тьме, в каком-то вихре, как будто внезапно столкнулись два камня, низвергнутые водопадом, мы едва знали друг друга в лицо, я даже не была уверена, что незнакомец меня узнает. Вчера это был слепой случай, опьянение, безумие двух смятенных людей, а сегодня мне предстояло открыть ему больше о себе, чем вчера, ибо теперь, в ярком, беспощадном свете дня, я должна была предстать перед ним такою, какой была, – живою женщиной.

Но это оказалось проще, чем я думала. Не успела я в условленный час

подойти к казино, как молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. Сколько радостного удивления, детской непосредственности было в его как всегда красноречивых движениях! Он бросился ко мне, в глазах его сияла радостная и вместе с тем почтительная благодарность, и глаза эти смиренно потупились, уловив мое смущение. Так редко встречаешь в людях благодарность, и как раз наиболее признательные не находят для нее слов; они неловко молчат, стыдятся своего чувства и нередко говорят невпопад, пытаюсь скрыть его. Но этот человек, которого Бог, как некий таинственный ваятель, наделил даром предельно рельефно, осязаемо и красиво выражать все движения души, всем своим существом излучал страстную, горячую благодарность. Он нагнулся над моей рукой и, благоговейно склонив мальчишескую голову, на мгновение застыл, едва касаясь губами моих пальцев, затем отступил и справился о моем здоровье в его словах, в его взгляде было столько скромной учтивости, что уже через несколько минут все мои опасения развеялись. И, словно отражая это просветление чувств, всё кругом праздновало избавление от злых чар: море, такое грозное вчера, было теперь тихим и ясным, и каждый камешек под легкой зыбью сверкал белизной; казино, этот ад крошечный, подымало к чистым, отливающим сталью небесам свои мавританские фронтоны, а киоск, под навес которого загнал нас вчера хлещущий дождь, преобразился в цветочную лавку, где в живописном беспорядке среди зелени лежали груды белых, красных, желтых цветов и бутонов, которые продавала молодая девушка в ярко-пестрой блузке.

Я пригласила его пообедать со мной в маленьком ресторане, и там этот незнакомый юноша рассказал мне свою трагическую историю. Она полностью подтвердила все то, о чем я догадывалась, когда впервые увидела его дрожащие, нервно вздрагивающие руки на зеленом столе. Он происходил из старого аристократического рода галицийских поляков. Родители готовили его в дипломаты. Он учился в Вене и месяц назад успешно сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, дядя, у которого он жил, офицер генерального штаба, повез его в Пратер, и они вместе пошли на бега. Дяде посчастливилось, он угадал три раза подряд; с толстой пачкой выигранных денег они отправились ужинать в дорогой ресторан. На следующий день, в награду за успешно сданный экзамен, будущий дипломат получил от своего отца денежную сумму в размере месячного содержания; за два дня до того эта сумма показалась бы ему огромной, но теперь, после легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и пренебрежительно. Сразу же после обеда он снова поехал на бега, ставил необдуманно и азартно, и по прихоти счастья, или, вернее, несчастья, он после последнего заезда покинул Пратер, утроив полученную от отца сумму. И вот его охватила страсть к игре; он играл на ипподроме, в кафе, в клубах, и эта страсть пожирала его время, силы, нервы и прежде всего деньги. Он не мог больше ни о чем думать, потерял сон, а главное, уже не владел собой: один раз, ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он, раздеваясь, нашел в кармане еще одну забытую скомканную бумажку. Не устояв перед соблазном, он снова оделся и блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе двух-трех игроков в домино, с

которыми и просидел до рассвета. Однажды его выручила замужняя сестра, уплатив долги ростовщикам, которые охотно ссужали деньгами наследника известной аристократической семьи. После этого ему сначала везло, но затем счастье неумолимо отвернулось от него, и чем больше он проигрывал, тем необходимей был решительный выигрыш, дабы покрыть просроченные обязательства и расплатиться с долгами чести. Он давно заложил свои часы, костюмы, и, наконец, случилось самое страшное: он украл из шкафа у старой тетки жемчужные серьги, которые она редко носила. Одну он заложил за крупную сумму, и в тот же вечер выиграл вчетверо больше. Но вместо того чтобы выкупить серьгу, он рискнул всем и проиграл. Кража еще не была обнаружена; тогда он заложил вторую и по внезапному наитию уехал поездом в Монте-Карло, чтобы добыть себе вожаделенное богатство. Он уже продал свой чемодан, одежду, зонтик, у него не оставалось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького крестика с драгоценными камнями, подаренного крестной матерью, княгиней Х., с которым он долго не хотел расставаться но и этот крестик он спустил накануне за пятьдесят франков только для того, чтобы вечером в последний раз испытать острое наслаждение игрой не на жизнь, а на смерть.

Все это он рассказывал мне с чарующей живостью и одушевлением. И я слушала его, увлеченная, захваченная, взволнованная; я и не думала возмущаться тем, что человек, сидящий против меня, в сущности говоря, вор. Если бы накануне мне, женщине с безупречным прошлым, требовавшей в своем кругу строжайшего соблюдения светских условностей, кто-нибудь сказал, что я буду дружески беседовать с незнакомцем, который годится мне в сыновья и вдобавок украл жемчужные серьги, — я сочла бы того сумасшедшим. Но во время рассказа юноши я не чувствовала ничего похожего на ужас, — он говорил так естественно и убедительно, словно описывал болезнь, горячечный бред, а не преступление. И потом для того, кто, подобно мне, испытал прошлой ночью нечто столь потрясающе-неожиданное, слово «невозможно» потеряло всякий смысл. За эти десять часов я неизмеримо больше узнала о жизни, чем за сорок мирно прожитых лет.

Но нечто другое испугало меня во время этой исповеди — лихорадочный блеск его глаз, когда он рассказывал о своей игровой страсти, причем, словно от электрического тока, содрогались все мускулы лица. Одно воспоминание о пережитом уже волновало его, и его выразительное лицо с ужасающей четкостью отражало все перипетии игры. Невольно его руки, прекрасные, с тонкими пальцами, нервные руки, начали снова, как за зеленым столом, метаться по скатерти, точно затравленные зверьки; и когда он говорил, я видела, как они внезапно стали дрожать, корчиться и судорожно сжиматься, затем снова вскидывались и опять впивались друг в друга. А когда он признавался в краже драгоценностей, я невольно вздрогнула, — молниеносно подпрыгнув, они сделали быстрое хватательное движение. Я видела, видела воочию, как пальцы кинулись на драгоценность и ладонь словно проглотила ее. И с невыразимым ужасом я поняла, что этот человек до мозга костей отравлен своей страстью.

Только это и ужаснуло меня в его рассказе – рабское подчинение пагубной страсти молодого, чистого сердцем, от природы беспечного человека. И я сочла своим долгом на правах друга уговорить посланного мне судьбой питомца сейчас же уехать из Монте-Карло, где искушение так велико, и вернуться в свою семью, пока не замечена пропажа и еще можно спасти его карьеру. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется мне своей честью больше никогда не дотрагиваться до карт и вообще не играть в азартные игры.

Никогда не забуду, с какой сперва смиренной, потом все просветляющейся, страстной благодарностью внимал мне этот чужой, пропащий человек, как он словно пил мои слова, когда я обещала ему помощь; внезапно протянув руки над столом, он схватил, мои руки незабываемым благоговейным жестом, как бы давая священный обет. В его светлых, обычно чуть мутных глазах стояли слезы, он дрожал всем телом от волнения и счастья. Сколько раз я уже пыталась описать вам его необычайно выразительные жесты и мимику, – его взгляда в ту минуту я не могу передать: в нем был такой упоенный, такой неземной экстаз, какой редко можно увидеть на человеческом лице; он сравним лишь с той белой тенью, что иной раз мелькает при пробуждении, – словно видишь перед собой исчезающий лик ангела.

К чему скрывать: я не устояла перед этим взглядом. Благодарность всегда радует, а ведь ее не часто видишь столь ясно, чуткость трогает сердце, и для меня, человека сдержанного и трезвого, такая экспансивность была чем-то благотворным, блаженно новым. И еще: не только этот несчастный юноша вернулся к жизни – после вчерашнего ливня ожила и вся природа. Когда мы вышли из ресторана, ослепительно сверкало уже совсем спокойное море, синева его сливалась с небесной лазурью, где парили белые чайки. Вы ведь знаете пейзаж Ривьеры. Он всегда красив, но он банален, как открытка с видом: он безмятежно предстает перед вами со своими неизменно яркими красками; это – сонная, ленивая красота, которая равнодушно открывает себя постороннему взгляду, как пышная красавица гарема. Но выпадают дни, правда очень редко, когда эта красота просыпается, прорывается наружу, словно громко окликает вас неистово сверкающими красками, победно швыряет вам в лицо пестрое изобилие своих цветов, горит, пылает чувственностью. И такой ликующий день родился из бушующего хаоса грозовой ночи; омытые дождем, поблескивали улицы, бирюзой отсвечивало небо, там и сям вспыхивали цветущие кусты – разноцветные факелы среди сочной, напоенной влагой зелени. Так прозрачен был пронизанный солнцем воздух, что горы словно посветлели и приблизились, – казалось, они с любопытством толпились вокруг отполированного, блистающего городка; во всем ощущался бодрящий, настойчивый зов природы, и сердце невольно покорялось ему.

– Возьмем экипаж, – сказала я, – и покатаемся по набережной.

Он радостно кивнул головой, – вероятно впервые после приезда этот юноша видел и замечал природу. До сих пор он не знал ничего, кроме душного зала казино, пропитанного тяжелым запахом пота, скопища людей с обезображенными азартом лицами и неприветливого, серого, шумливого моря.

А теперь перед нами грандиозным раскрытым веером лежало залитое солнцем взморье, и восхищенный взор блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске (автомобилей тогда еще не было) по чудесной дороге, мимо бесчисленных вилл, – виды сменялись видами, и сотни раз, у каждого дома, у каждой виллы, притаившейся в зелени пиний, возникало тайное желание: здесь можно бы жить тихо, спокойно, вдали от мира...

Была ли я когда-нибудь в жизни счастливей, чем в этот час? Не знаю. Рядом со мной сидел молодой человек, вчера еще задыхавшийся в тисках смерти и рока, а теперь зачарованный искристым потоком солнца; он, казалось, помолодел на много лет. Он стал совсем мальчиком, красивым, резвым ребенком, с веселым и в то же время почтительным взглядом, и больше всего восхищала меня его чуткость: если подъем был слишком крут и лошадям приходилось трудно, он проворно соскакивал, чтобы подтолкнуть экипаж. Стоило мне указать на растущий близ дороги цветок, как он спешил сорвать его. Маленькую жабу, которая, соблазненная вчерашним дождем, медленно ползла по дороге, он поднял и бережно отнес в траву, чтобы ее не раздавил проезжающий экипаж; и все время он, смеясь, рассказывал премилые смешные истории, и в этом смехе было для него спасение, ведь иначе он должен был бы петь, прыгать или безумствовать, такое восторженное опьянение владело им.

Когда мы медленно проезжали по крохотной горной деревушке, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась: кого приветствовал он здесь, чужой среди чужих? В ответ на мой вопрос он, слегка покраснев и словно оправдываясь, объяснил, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как во всех строго католических странах, с детства приучают снимать шляпу перед каждой церковью и каждой часовней. Это почтительное уважение к религии тронуло меня; вспомнив про крестик, о котором он упоминал, я спросила, верующий ли он, и когда он, несколько смущенный, скромно ответил, что надеется удостоиться благодати, мне неожиданно пришла в голову мысль.

– Стойте! – крикнула я кучеру и поспешно вышла из экипажа. Он в изумлении последовал за мной.

– Куда вы? – спросил он.

Я ответила только:

– Идите за мной.

Пройдя несколько шагов назад по дороге, мы приблизились к церкви – небольшой, сложенной из кирпича часовенке. Дверь была открыта. Смутно серели оштукатуренные голые стены, желтый клин света врезался в полумрак. Тускло мерцали две свечи, освещая маленький алтарь; пахло ладаном. Мой спутник снял шляпу, опустил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я схватила его за руку.

– Подойдите, – сказала я, – к алтарю или священному для вас образу и дайте обет, который я вам подскажу.

Он посмотрел на меня удивленно, почти испуганно. Но тут же понял меня, подошел к одной из ниш, осенил себя крестом и послушно опустился на колени.

– Повторяйте за мной, – сказала я, дрожа от волнения, – повторяйте за

мной: «Клянусь...»

– Клянусь, – повторил он.

Я продолжала:

«...что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше не стану рисковать своей жизнью и честью ради этой страсти».

С трепетом повторил он мои слова; отчетливо, громко прозвучали они в пустой церкви. Потом на мгновение стало тихо, так тихо, что снаружи донесся шелест листвы, по которой пробежал ветер. И тут он с внезапным порывом, словно кающийся грешник, в молитвенном экстазе, какого мне еще не приходилось видеть, начал быстро, неистовой скороговоркой, произносить непонятные мне слова на польском языке. То была пламенная молитва, молитва благодарственная и покаянная, ибо вновь и вновь в этой бурной исповеди его голова смиренно клонилась долу, все с большей страстностью лилась незнакомая речь, и все жарче, все более истово повторял он одно и то же слово. Ни до, ни после, ни в одной церкви мира не слыхала я такой молитвы. Его руки судорожно вцепились в спинку деревянной скамеечки, все тело сотрясалось от внутренней бури. Он ничего не видел, ничего не чувствовал; казалось, он пребывал в другом мире, в некоем очистительном огне преображения, или вознесся в иные, горние пределы. Наконец, он медленно встал, перекрестился и устало повернулся ко мне. Колени у него дрожали, лицо было бледно, как у смертельно утомленного человека. Но когда он взглянул на меня, его глаза просияли, чистая, поистине благочестивая улыбка озарила его изможденное лицо; он подошел ближе, поклонился русским земным поклоном, взял мои руки в свои и благоговейно поднес их к губам.

– Вы посланы мне ботом, я возблагодарил его.

Я не нашлась, что ответить. Но я от души пожелала, чтобы под низкими сводами вдруг зазвучал орган, ибо я чувствовала, что добилась своего: этот человек спасен мною навсегда.

Мы вышли из церкви на сияющий, льющийся потоком свет этого поистине майского дня; никогда мир не казался мне таким прекрасным. Еще два часа мы медленно катались по живописной дороге, извивавшейся среди холмов, и за каждым поворотом открывались все новые прелестные виды. Но мы молчали. После такого взрыва чувств все слова казались пошлыми. И когда мой взгляд случайно встречался с его взглядом, я смущенно отворачивалась, так сильно волновало меня зрелище сотворенного мной чуда.

Около пяти часов вечера мы вернулись в Монте-Карло. Мне предстоял визит к родственникам, от которого невозможно было уклониться. Откровенно говоря, в глубине души я жаждала покоя после пережитых волнений – слишком много было счастья. Я чувствовала, что мне нужно отдохнуть от этого состояния восторженного экстаза, впервые в жизни испытанного мной. Поэтому я попросила своего питомца только на минутку зайти ко мне в отель; там, в своей комнате, я передала ему деньги на дорогу и выкуп драгоценностей. Мы условились, что за время моего отсутствия он возьмет билет, а в семь часов встретимся в вестибюле вокзала за полчаса до прихода поезда, который через

Геную увезет его домой. Когда я протянула ему пять банкнот, у него побелели губы.

– Нет... не надо денег... прошу вас, не надо денег... – глухо прошептал он, отдергивая дрожащие пальцы. – Не надо денег... не надо денег... я не могу их видеть, – повторил он, словно испытывая физическое отвращение или страх.

Но я успокаивала его, говорила, что даю ему в долг, – если он стесняется брать, может дать мне расписку.

– Да... да... расписку, – пробормотал он, отводя глаза, скомкал бумажки, как что-то липкое, приставшее к пальцам, сунул их, не глядя, в карман и быстро, размашисто набросал на листке несколько слов. Когда он поднял голову, лоб у него был влажный от пота – казалось, его била лихорадка; протягивая мне листок, он вздрогнул, словно ток пробежал по его телу, и вдруг – я невольно отшатнулась – он упал на колени и поцеловал край моего платья. В этом движении было столько чувства, что я задрожала всем телом; странное смятение охватило меня, я могла только прошептать:

– Благодарю вас за то, что вы так благодарны. Но, пожалуйста, уйдите теперь. В семь часов в вестибюле вокзала мы простимся.

Он взглянул на меня; слезы умиления застилали ему глаза; одно мгновение мне казалось, что он хочет что-то сказать, одно мгновение мне чудилось, что он сейчас устремится ко мне. Но вот он опять низко-низко поклонился и вышел из комнаты.

Миссис К. опять прервала свой рассказ. Она встала, подошла к окну и, не двигаясь, долго смотрела на улицу; плечи ее слегка дрожали. Вдруг она решительно обернулась: ее руки, доселе спокойные и безучастные, внезапно сделали резкое, порывистое движение, словно что-то разрывая. Затем она твердо, почти с вызовом взглянула на меня и продолжала:

– Я обещала, что буду говорить вполне откровенно. Сейчас я вижу, как необходимо было это обещание. Лишь теперь, когда я впервые заставляю себя описывать одно за другим все события этого дня и стараюсь облечь в ясные слова запутанный клубок смутных ощущений, лишь теперь я вижу многое, чего тогда не понимала или, быть может, не хотела понимать. И потому я хочу твердо и решительно сказать правду и себе и вам: тогда, в ту минуту, когда он вышел из комнаты и я осталась одна, я почувствовала убийственный удар в сердце, от которого у меня потемнело в глазах; что-то причинило мне жестокую боль, но я не знала или отказывалась знать – почему трогательная почтительность моего питомца так глубоко уязвила меня.

Но теперь, когда я заставляю себя беспощадно извлекать из памяти прошлое, глядя на него как бы со стороны, когда, призвав вас в свидетели, я не вправе ничего скрывать, трусливо утаивать чувства, в которых стыдно сознаваться, теперь у меня нет сомнений: то, что мне тогда причинило такую боль, было разочарование... этот юноша так покорно ушел... без всякой попытки удержать меня, остаться со мной... он так безропотно и почтительно покорился моей просьбе уехать, вместо того чтобы сжать меня в объятиях... он почитал меня только как святую, которая явилась ему на его пути, и не... не

видел во мне женщины.

Это было разочарование... разочарование, в котором я не признавалась себе ни тогда, ни позже, но женщина все постигает сердцем, без слов. Потому что... теперь я себя больше не обманываю – если бы этот человек обнял меня в ту минуту, позвал меня, я пошла бы за ним на край света, я опозорила бы свое имя, имя своих детей... презрев людскую молву и голос рассудка, я бежала бы с ним, как мадам Анриэт с молодым французом, которого она накануне еще не знала... я не спросила бы, куда и надолго ли, даже не бросила бы прощального взгляда на свою прошлую жизнь... я пожертвовала бы для этого человека своим добрым именем, своим состоянием, своей честью... я пошла бы просить милостыню, и, наверно, нет такой низости, к которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он сказал мне хоть слово, сделал бы хоть один шаг ко мне, если бы он попытался удержать меня; в этот миг я вся была в его власти.

Но я уже говорила вам – этот одержимый человек больше не видел во мне женщины, а с какой силой, с какой преданностью рвалась я к нему, я ощутила лишь, когда осталась одна, когда страсть, которая только что промелькнула на его ясном, поистине неземном лице, сдавила мне грудь всей тяжестью неразделенного чувства.

Я с трудом овладела собой, с отвращением думая о предстоящем визите к родным. Мне казалось, что на голове у меня железный шлем, который стягивает лоб и пригибает меня к земле; когда я, наконец, пошла в отель напротив, где жили мои родственники, мысли у меня путались, а ноги заплетались. Я тупо сидела среди весело болтавших людей и всякий раз пугалась, когда, случайно подняв глаза, видела их неподвижные лица, которые, в сравнении с тем, оживленным словно игрой светотени, лицом, казались мне застывшими масками. Я точно окружена была мертвецами, до того безжизненно было это общество; и в то время как я клала сахар в чашку и рассеянно поддерживала разговор, передо мной с каждым биением сердца возникало другое лицо, наблюдать за которым стало для меня счастьем и которое я – страшно подумать! – через два часа должна была увидеть в последний раз. Я, должно быть, невольно вздохнула или застонала, потому что кузина моего мужа наклонилась ко мне: что со мной, здорова ли я, такая бледная, как будто чем-то удручена. Я тотчас воспользовалась ее вопросом, сказала, что у меня жестокая мигрень, и попросила разрешения незаметно удалиться.

Теперь я опять принадлежала себе; я поспешила в свой отель. И едва я очутилась одна, как меня снова охватило чувство пустоты и покинутости и проснулась тоска по этому юноше, которого я сегодня должна была покинуть навсегда. Я металась по комнате, без нужды выдвигала ящики, переменяла платье, ленту, потом я стояла перед зеркалом и испытующим взором рассматривала себя: быть может, в таком наряде я все же могу приковать его внимание. И вдруг я осознала, чего я хочу: пойти на все, только не отпускать его! В течение одной роковой секунды это желание стало решением. Я сбежала вниз к портье и сообщила ему, что уезжаю с вечерним поездом. Надо было

торопиться я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи – времени оставалось в обрез; и пока мы с ней поспешно, наперегонки укладывали в чемоданы платье и всякую мелочь, я мечтала о том, как буду провожать его, и в последний, самый последний момент, когда он уже протянет мне руку для прощанья, вдруг, к его изумлению, войду вместе с ним в купе, чтобы провести с ним эту ночь, следующую – столько, сколько он захочет. Я была в каком-то чаду упоения; бросая платье в сундук, я, к удивлению горничной, громко смеялась. Я смутно сознавала, что потеряла самое себя. Когда слуга пришел за моим багажом, я с недоумением взглянула на него: трудно было думать о таких обыденных вещах, когда я себя не помнила от волнения.

Я очень боялась опоздать: вероятно, было уже около семи часов, до отхода поезда оставалось в лучшем случае двадцать минут; правда, утешала я себя, я иду не для того, чтобы попрощаться, раз я решила сопровождать его, сопровождать до тех пор, пока он пожелает. Слуга вынес мои чемоданы, а я побежала к кассе отеля уплатить по счету. Управляющий уже протягивал мне сдачу, я уже собиралась уходить, как вдруг чья-то рука ласково дотронулась до моего плеча. Я вздрогнула. Это была моя кузина; обеспокоенная недомоганием, которое я перед ней разыграла, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла принять ее: каждая секунда промедления могла оказаться роковой, но вежливость обязывала меня уделить ей хоть немного внимания.

– Ты должна лечь в постель, – настаивала она, – я уверена, что у тебя жар.

Наверно, так оно и было, потому что в висках у меня стучало, перед глазами мелькали синие круги – я была близка к обмороку. Отказавшись лечь, я благодарилась за участие, хотя каждое слово жгло меня и мне очень хотелось вытолкать ее вон вместе с ее назойливыми заботами. Но непрощенная гостья не уходила, нет, не уходила; она предложила мне одеколону, не поленилась сама натереть мне виски, а я считала минуты, думала о нем, ломала голову, как бы мне избавиться от этого мучительного участия. И чем больше я волновалась, тем сильнее становилась ее тревога за меня; наконец, она попыталась чуть не силой заставить меня подняться в номер и лечь. Но вдруг – среди ее уговоров – я бросила взгляд на висевшие в вестибюле часы: двадцать восемь минут восьмого, а в семь тридцать пять отходит поезд! И резко, порывисто, с грубым равнодушием отчаяния я сунула кузине руку: «Прощай, мне надо уходить», и, не обращая внимания на ее недоуменный взгляд, опрометью пробежала мимо удивленных лакеев, выскочила на улицу, бросилась к вокзалу. Уже по взволнованной жестикуляции слуги, который ждал меня с багажом на перроне, я поняла, что опаздываю. Я ринулась к барьеру, но меня остановил контролер: я забыла взять билет. И пока я отчаянно уговаривала его пропустить меня, поезд тронулся; дрожа всем телом, я напряженно вглядывалась, надеясь поймать в одном из окон хотя бы взгляд, поклон, привет. Но в торопливом беге поезда я уже не могла различить его лица. Все быстрее катились вагоны, и через минуту не осталось ничего, кроме черного, дымного облака.

Долго я простояла так, словно каменная, потому что слуга, наверно, несколько раз пытался заговорить со мной, прежде чем решился тронуть меня

за руку. Тут я очнулась. Отнести вещи обратно в отель? Прошло минуты две, пока я собралась с мыслями; нет, это невозможно! Вернуться туда после своего нелепого, сумасбродного отъезда – нет, ни за что на свете! Мне не терпелось поскорее остаться одной, и я велела сдать вещи на хранение. И только теперь, среди вокзальной суеты, в круговороте сменяющихся лиц, я попыталась обдумать, трезво обдумать, как мне превозмочь душившее меня чувство гнева, тоски и отчаяния, ибо – должна сознаться – мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, жгла меня, точно раскаленным железом. Боль становилась все нестерпимее, и я едва удерживалась, чтобы не вскрикнуть. Вероятно, только в неповторимые минуты их жизни у людей бывают такие внезапные, как обвал, стремительные, как буря, взрывы страсти, когда все прожитые годы, все бремя нерастрченных сил сразу обрушиваются на человека. Никогда, ни до, ни после, не испытывала я такого крушения надежд, такой бессильной ярости, как в ту секунду, когда, решившись на самый отчаянный шаг, решившись одним ударом опрокинуть всю мою сбереженную, накопленную, устроенную жизнь, я внезапно очутилась перед неодолимой, бессмысленной стеной, о которую беспомощно билась моя страсть.

Что было потом? Конечно, я поступила так же бессмысленно; это было нелепо, глупо, мне даже стыдно об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать: я... я хотела вернуть его себе... то есть вернуть те мгновенья, которые провела с ним... меня неудержимо влекло туда, где накануне мы были вместе, – к скамье, с которой я его подняла, в игровой зал, где я его впервые увидела, и даже в тот притон, лишь бы снова, еще раз все пережить. А на другой день я намеревалась взять экипаж и поехать по набережной, по той же дороге, чтобы каждое слово, каждый жест снова ожили во мне, – да, так велико, так ребячливо было мое смятение! Но подумайте, как молниеносно обрушились на меня все эти события, – я ощущала их как один ошеломляющий удар. И теперь, так грубо пробужденная от своего опьянения, я хотела еще раз, капля за каплей, упиться мимолетно пережитым с помощью того магического самообмана, который мы называем воспоминанием; такое желание не всякий поймет; быть может, нужно пламенное сердце, чтобы это понять.

Итак, я прежде всего пошла в казино, чтобы разыскать стол, за которым он сидел, и там среди других рук представить себе его руки. Я вошла в зал. Я помнила, где он сидел, когда я впервые увидела его: за столом налево, во второй комнате. Мне так ярко рисовалось каждое его движение, что я с закрытыми глазами, ощупью нашла бы его место. Я направилась туда. И вот... когда, стоя в дверях, я бросила взгляд на толпу, со мной произошло нечто странное... там, на том же месте, где я его себе представляла, там сидел... что это – лихорадочный бред, галлюцинация?... – он... он, точно такой, каким только что рисовало его мое воображение... такой же, как вчера, с впившимися в шарик глазами, мертвенно-бледный... он... да, он...

Я так испугалась, что едва не вскрикнула. Но видение было так нелепо, так немыслимо, что я тут же овладела собой – я закрыла глаза. «Ты с ума сошла... ты бредишь... у тебя жар... – говорила я себе. – Ведь это невозможно, тебе

померещилось... Полчаса назад он уехал». Только после этого я снова открыла глаза. Но, к моему ужасу, видение не исчезло: никаких сомнений – он по-прежнему сидел там... среди миллионов рук я узнала бы эти руки... нет, я не грезил, то был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, безумец сидел здесь, он принес сюда, на зеленый стол, деньги, которые я дала ему на дорогу, и, в полном самозабвении отдавшись своей страсти, играл, – пока я в отчаянии рвалась к нему всем сердцем.

Неистовый гнев овладел мною; все поплыло у меня перед глазами, и я едва не бросилась к нему, чтобы схватить за горло клятвопреступника, который так бесстыдно обманул мое доверие, надругался над моими чувствами, над моей преданностью! Но я вовремя справилась с собой. С нарочитой медлительностью (чего это мне стоило!) подошла я к столу и стала как раз против него; какой-то господин любезно уступил мне место. Два метра зеленого сукна разделяли нас, и я могла, как из театральной ложи, глядеть на него, видеть то самое лицо, которое два часа назад было озарено признательностью, сияло божественной благодатью, а теперь снова было искажено адскими муками игровой страсти. Руки, те самые руки, которые сегодня днем в экстазе священнейшего обета сжимали спинку молитвенной скамьи, теперь, скрюченные, жадно, как сладострастные вампиры, перебирали деньги. Он выиграл, должно быть, много, очень много выиграл: перед ним выросла беспорядочная груда жетонов, луидоров и банковых билетов – целое богатство, в котором, блаженно потягиваясь, купались его пальцы, его дрожащие нервные пальцы. Я видела, как они любовно разглаживали и складывали бумажки, катали и вертели золотые монеты, потом вдруг швыряли пригоршню на один из квадратов. И тотчас же крылья носа начинали вздрагивать, окрик крупье отрывал его алчно сверкающие глаза от денег, он пристально следил за прыгавшим и дробно стучавшим шариком, весь уйдя в это созерцание, и только локти, казалось, были пригвождены к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, проявлялась его одержимость, ибо каждое его движение убивало во мне тот, другой, словно на золотом поле сияющий образ, который я легковерно запечатлела в своем сердце.

Мы были на расстоянии двух метров друг от друга, я в упор смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел: взгляд его, оторвавшись от сложенных перед ним банкнот и монет, лихорадочно следил за шариком, когда тот начинал вертеться, потом снова устремлялся на деньги; в этом замкнутом кругу вращались все его мысли и чувства; весь мир, все человечество свелось для этого маньяка к куску разделенного на квадраты зеленого сукна. И я знала, что могу стоять здесь часами – он даже не заметит моего присутствия.

Но я не могла больше выдержать. Внезапно решившись, я обошла вокруг стола и, подойдя к нему сзади, крепко схватила его за плечо. Он обернулся и с недоумением посмотрел на меня остекленевшими глазами, совсем как пьяный, которого только что растолкали и который смотрит спросонья мутным, невидящим взглядом. Потом он, казалось, узнал меня, его дрожащие губы

раскрылись, он радостно взглянул на меня и прошептал таинственно и доверительно:

– Все хорошо... Я так и знал, когда вошел и увидел, что он здесь... Я так и знал...

Я не поняла его. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец все забыл – свой обет, наш уговор, меня и весь мир. Но даже перед его безумием я не могла устоять и, невольно подчиняясь ему, с удивлением спросила, о ком он говорит.

– Вот тот старик, русский генерал без руки, – шепнул он, придвигаясь ко мне вплотную, чтобы никто не подслушал волшебной тайны. – Видите, – с седыми бакенбардами, а за стулом стоит слуга. Он всегда выигрывает, я еще вчера наблюдал за ним, у него, наверно, своя система, и я всякий раз ставлю туда же, куда и он... Он и вчера все время выигрывал... Я только сделал ошибку – продолжал играть после того, как он ушел... Это была моя ошибка... Он выиграл вчера тысяч двадцать франков... и сегодня он каждый раз выигрывает. Я ставлю все время за ним... Теперь...

Вдруг он оборвал на полуслове – раздался резкий выкрик крупье: «Faites votre jeu!»,¹² и взгляд его жадно устремился туда, где важно и спокойно сидел седобородый русский; генерал не спеша поставил на четвертый номер сперва одну золотую монету, а затем, помедлив, вторую. Тотчас же столь знакомые мне дрожащие пальцы ринулись к кучке денег, и он швырнул горсть золотых монет на тот же квадрат. И когда через минуту крупье провозгласил «ноль» и одним взмахом лопатки очистил весь стол, он изумленным взглядом проводил свои утекающие деньги. Но вы думаете, он обернулся ко мне? Нет, он совершенно обо мне забыл, я выпала, исчезла, ушла из его жизни; всем своим существом он был прикован к русскому генералу, который хладнокровно подкидывал на ладони две золотые монеты, раздумывая, на какое бы число поставить.

Я не могу передать вам свой гнев, свое отчаяние. Но вообразите себе мою душевную боль: ради этого человека я пожертвовала всей своей жизнью, а для него я была только мухой, от которой лениво отмахиваются. Снова во мне поднялась волна ярости. Из всех сил я схватила его за руку, так, что он вздрогнул.

– Вы сейчас же встанете! – тихо, но повелительно прошептала я. – Вспомните, какую клятву вы дали мне сегодня в церкви, жалкий человек, клятвопреступник!

Он взглянул на меня с удивлением и вдруг побледнел. В глазах у него появилось виноватое выражение, как у побитой собаки, губы задрожали: казалось, он сразу все вспомнил и ужаснулся.

– Да... да... – пробормотал он. – Боже мой, боже мой!.. Да... я иду... Простите...

И его рука начала уже сгребать деньги, сначала быстро,

¹² Делайте ставку! (франц.)

порывисто-резкими движениями, но постепенно все медленнее, словно что-то ее удерживало. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку.

— Одну минуточку... — Он бросил пять золотых на тот же квадрат, что и генерал. — Только одну эту игру... Клянусь вам, я сейчас уйду... Только эту игру... последнюю...

Он умолк. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот одержимый ускользнул от меня, от самого себя, захлестнутый кружением полированного колеса, где бесновался крохотный шарик. Опять возглас крупье, опять лопатка смахнула его пять золотых: он проиграл. Но он не обернулся. Он забыл обо мне, как забыл свою клятву, слово, которое дал мне минуту назад. Снова его рука жадно потянулась к подтаявшей кучке денег, и его опьяненный взор был прикован, точно к магниту, к приносящему счастье визави.

Терпение мое истощилось. Я снова тряхнула его, но теперь уже с силой.

— Вставайте! Сейчас же... Вы сказали, только эту игру...

Но в ответ на мои слова он вдруг круто повернулся; на его лице, обращенном ко мне, уже не было ни тени смирения и стыда: то было лицо доведенного до иступления человека, глаза его пылали гневом, губы тряслись от ярости.

— Оставьте меня в покое! — прошипел он. — Уйдите! Вы приносите мне несчастье. Когда вы здесь, я всегда проигрываю. Вчера так было и сегодня опять. Уходите!

На мгновение я окаменела. Но его ярость разожгла и мой гнев.

— Я приношу вам несчастье? — сказала я. — Вы лгун, вы вор, вы поклялись мне...

Тут я остановилась, потому что он вскочил со стула и оттолкнул меня, даже не замечая, что вокруг нас поднялся шум.

— Оставьте меня! — громко крикнул он, забывшись. — Не нужна мне ваша опека... Вот... вот... вот вам ваши деньги! — И он швырнул мне несколько стофранковых билетов. — А теперь оставьте меня в покое!

Он прокричал это не помня себя, во весь голос, не обращая внимания на сотни людей вокруг. Все смотрели на нас, шушукались, указывали на нас, смеялись, даже из соседнего зала заглядывали любопытные. Мне казалось, что с меня сорвали одежду и я стою обнаженная перед этой глазающей толпой. «Silence? Madame? S'il vous plait!»¹³ — громко и повелительно сказал крупье и постучал лопаткой по столу. Ко мне, ко мне относился окрик этого гнусного наглеца. Уничтоженная, сгорая со стыда, стояла я перед насмешливо шепчущейся толпой любопытных, как девка, которой швырнули деньги в лицо. Двести, триста наглых глаз уставились на меня, и вот... когда, раздавленная унижением и позором, я отвела взгляд, я увидела глаза, в которых застыл ужас, — то была моя кузина, смотревшая на меня раскрыв рот и, словно в испуге, заслоняясь рукой.

¹³ Поттише, мадам, прошу вас! (франц.)

Это сразило меня: не успела она пошевелинуться, прийти в себя, как я бросилась вон из зала; у меня хватило сил добежать до скамьи, той самой скамьи, на которую рухнул вчера этот безумец. И так же, как он, я упала на жесткое сидение без сил, без воли, без мыслей.

С тех пор прошло двадцать пять лет, и все же, когда я вспоминаю о том, как я стояла там, униженная, втоптанная в грязь его оскорблением, перед толпой чужих людей, кровь стынет у меня в жилах. И я снова думаю о том, до какой степени слабо, жалко и ничтожно то, что мы так выпренье именуем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если все это не может разрушить страждущую плоть, измученное тело, если можно пережить такие часы и еще дышать, вместо того чтобы умереть, рухнуть, как дерево, пораженное молнией. Ведь боль, пронзившая меня до мозга костей, могла лишь на краткий миг повергнуть меня на скамью, где я замерла не дыша, ничего не сознавая, кроме предчувствия вожденной смерти. Но я уже сказала – всякая боль труслива, она отступает перед могучим зовом жизни, чья власть над нашей плотью сильнее, чем над духом – все обольщения смерти.

Мне самой было непонятно, как я могла встать после такого потрясения; но все же я встала, правда не зная, что же мне теперь делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы уже на вокзале, и тотчас же вспыхнула мысль: прочь, прочь, скорее прочь отсюда, из этого проклятого места! Не глядя по сторонам, я побежала к вокзалу, спросила, когда отходит ближайший поезд в Париж; в десять часов, сказал мне швейцар, и я тотчас же сдала свои вещи в багаж. Десять часов – значит, пройдет ровно двадцать четыре часа после той роковой встречи, двадцать четыре часа, столь насыщенных бурными противоречивыми чувствами, что мой внутренний мир был навеки разрушен. Но вначале я ничего не сознавала, кроме одного слова, которое неумолчно стучало в висках, вбивалось в мозг, словно вбиваемый клин: прочь! Прочь! Прочь из этого города, прочь от самой себя, домой, к моим близким, к моей прежней, моей жизни! Утром я приехала в Париж, там – с одного вокзала на другой – прямо в Булонь, из Булони – в Дувр, из Дувра – в Лондон, из Лондона – к моему сыну, прямым путем, без остановок, не рассуждая, не думая; сорок восемь часов без сна, без слов, без еды, сорок восемь часов, в течение которых колеса выстукивали все то же слово: прочь! прочь! прочь!

Когда я, наконец, нежданно-негаданно вошла в загородный дом моего сына, все испугались: должно быть, во всем моем облике, в моем взгляде было что-то выдававшее меня. Сын хотел обнять и поцеловать меня. Я отшатнулась: мысль, что он прикоснется к губам, которые я считала оскверненными, была мне невыносима. Я уклонилась от расспросов, велела только приготовить ванну, потому что испытывала потребность вместе с дорожной пылью смыть со своего тела последние воспоминания о страсти этого одержимого, недостойного человека. Потом я поднялась в свою комнату и проспала двенадцать – четырнадцать часов глухим, каменным сном, каким никогда в жизни не спала, таким сном, после которого я поняла, что значит мертвой лежать в гробу. Родные ухаживали за мною, как за больной, но их ласка причиняла мне боль; я стыдилась их почтительности, их уважения, и мне

приходилось постоянно сдерживаться, чтобы не выкрикнуть им в лицо, как я их всех предала, забыла, чуть не покинула ради безумной, бешеной страсти.

Потом я поехала в захолустный французский городок, где никого не знала, ибо меня преследовала навязчивая идея, что всякий с первого взгляда может увидеть мой позор, перемену во мне, до такой степени чувствовала я себя опозоренной и поруганной. Порой, когда я просыпалась утром в своей постели, меня охватывал леденящий страх, я боялась открыть глаза. Снова овладевало мной воспоминание о той ночи, когда я внезапно пробудилась рядом с чужим, полуобнаженным человеком, и всякий раз, как и в ту минуту, у меня было одно желание – умереть.

Но время обладает великой силой, а старость умеряет жар души. Чувствуется близость смерти, ее черная тень падает на дорогу, все кажется менее ярким и уже не задевает так глубоко и меньше опасностей тебя подстерегает. Мало-помалу я оправилась от потрясения, и когда много лет спустя мне представили молодого поляка, атташе австрийского посольства, и в ответ на мой вопрос о той семье он рассказал, что сын его родственника десять лет тому назад застрелился в Монте-Карло, – я даже не вздрогнула. Мне почти не было больно: быть может, – к чему скрывать свой эгоизм? – я была даже рада, потому что теперь мне нечего было бояться, что я когда-нибудь с ним встречу, никто уже не мог свидетельствовать против меня, кроме собственной памяти. С тех пор я стала спокойнее. Состариться это ведь и значит перестать страшиться прошлого.

И теперь вы поймете, почему я решила заговорить с вами о себе, об этом случае в моей жизни. Когда вы так горячо защищали мадам Анриэт и утверждали, что двадцать четыре часа могут полностью изменить судьбу женщины, мне показалось, что речь идет обо мне; я была вам благодарна, потому что впервые почувствовала себя как бы оправданной. И я подумала: хоть раз излить душу, – быть может, тогда снимется проклятие с моих воспоминаний и я смогу завтра же пойти туда и переступить порог того самого зала, где меня подстерегала судьба, не питая ненависти ни к нему, ни к себе. Тогда камень свалится с моей души, ляжет всей своей тяжестью на прошлое, и оно уже никогда не воскреснет. Хорошо, что я смогла все это вам рассказать, теперь мне легко и почти радостно... Благодарю вас за это.

Миссис К. встала, и я почувствовал, что рассказ окончен. Несколько смущенный, я искал и не находил слов. Должно быть, она поняла это и быстро проговорила:

– Нет, прошу вас, не надо... я не хотела бы, чтобы вы отвечали мне или сказали что-нибудь... Благодарю вас за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути.

И она, прощаясь, протянула мне руку. Невольно я поднял глаза, и трогательно прекрасным показалось мне лицо этой старой женщины, которая приветливо и слегка смущенно глядела на меня. То ли отблеск минувшей страсти, то ли замешательство залило румянцем ее лицо до самых корней седых волос, – совсем как юная девушка стояла она передо мной, взволнованная воспоминаниями и стыдясь своего признания. Я был тронут, мне хотелось

выразить ей свое уважение, но что-то сдавило мне горло. Тогда я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенний лист, руку.